

248

ГРАНИ

GRANI

Г
Р
А
Н
И

248

2013

2013

Октябре – Д еcembre

ГРАНИ

Ежеквартальный литературный журнал

*Проза, поэзия, очерки современности, религия,
философия, публицистика,
литературная критика и пр.*

Журнал считает своим долгом способствовать развитию свободной мысли, свободного слова, свободного творчества.

Почти полвека журнал публиковал произведения, которые не могли быть изданы на родине из-за цензурных или политических ограничений. В «Гранях» печатались произведения:

А. Ахматовой, Д. Андреева, Л. Бородина,
М. Булгакова, И. Бунина, Г. Владимова,
В. Войновича, А. Галича, З. Гиппиус,
В. Гроссмана, Ю. Домбровского,
Н. Заболоцкого, Б. Зайцева, Е. Замятина,
Н. Коржавина, В. Корнилова, А. Куприна,
С. Левицкого, Н. Лосского,
В. Максимова, О. Мандельштама,
В. Набокова, В. Некрасова, Б. Окуджавы,
Б. Пастернака, К. Паустовского,
Р. Редлиха, А. Ремизова, Ф. Светова,
А. Солженицына, В. Солоухина, В. Тарсиса,
М. Цветаевой, И. Шмелева, В. Шульгина
и многих других отечественных
и эмигрантских авторов.

* * *

И в новых условиях уже в самой России журнал будет следовать прежним принципам, в первую очередь публикуя произведения, помогающие восстановлению прерванных тоталитаризмом традиций российской культуры.



Журнал основан в 1946 году
Основатель журнала Е. Р. Романов
Редактировали:
1946 Е. Р. Романов, С. С. Максимов,
Б. В. Серафимов
1947–1952 Е. Р. Романов
1952–1955 Л. Д. Ржевский
1955–1961 Е. Р. Романов
1962–1982 Н. Б. Тарасова
1982–1983 Р. Н. Редлих, Н. Рутыч
1984–1986 Г. Н. Владимов
1986–1995 Е. А. Самсонова-Брейтбарт

С 1997 года
Издатель и Главный редактор
Татьяна Жилкина

Редакционная коллегия:
Алла Ависова, **США**
Ирина Басова, **Франция**
Тамара Жирмунская, **Германия**
Зоя Калинина, **Франция**
Геннадий Николаев, **Германия**
Екатерина Труш, **США**

**Москва–Париж–Мюнхен–
Сан-Франциско**

Г Р А Н И

**МЕЖКОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ
РУССКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ
THE RUSSIAN LITERARY JOURNAL**

Год LXVIII

№ 248

2013

СОДЕРЖАНИЕ

*«Из года сорокового,
Как с башни на всё гляжу...»* 5

ПИСАТЕЛЬ И ВРЕМЯ

Вероника ЛОССКАЯ.
Ахматова и Цветаева. 1913-й год 6

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

Аркадий ОСИПОВ.
«...Мои мерцающие сны» 17

Борис ХАЗАНОВ.
Русский путь 22

Геннадий НИКОЛАЕВ.
Пыль. *Повесть* 43

Анатолий ГОРЮШКИН.
Смотритель маяка. *Литературное эссе* 70

АНТОЛОГИЯ СОВРЕМЕННОГО РАССКАЗА

Наталья СЕМЫНИНА.
Женщина в белом. Я устал 88

Евгения ПЕРОВА.
Четвертый попучтик. Конспект романа 100

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ

- Владимир ФРУМКИН.**
«...Пусть Бог меня простит» 107

ФИЛОСОФИЯ. РЕЛИГИЯ. КУЛЬТУРА

- Михаил АРДОВ.**
Россыпь. *Статьи разных лет* 121

НАСЛЕДИЕ

- Марина ЦВЕТАЕВА.**
О новой русской детской книге 139

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

- Борис ГАВРИЛОВ.**
Эзотерическая миграция Максимилиана Волошина 145

ПАМЯТИ ДРУГА

- Владимир МОЩЕНКО.**
Тогда ещё шёл век двадцатый... *Александр Ревич* 194

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

- Алексей ПЯТКОВСКИЙ.**
Воспоминания о Самиздате.
Политолог Владимир Прибыловский. Окончание 203
Коротко об авторах 229
Содержание томов №№ 245–248, 2013 234

Обложка художника Н. Мишаткина

*Эмблема — «Парус»
Художник И. Иогансон*

*Из года сорокового,
Как с башни на всё гляжу,
Как будто прощаюсь снова
С тем, с чем давно простилась,
Как будто перекрестилась
И под тёмные своды схожу.*

Анна Ахматова

Вероника Лосская

Ахматова и Цветаева. 1913-й год

Жизнь Анны Андреевны Ахматовой заняла почти три четверти двадцатого века¹, а жизнь Марины Ивановны Цветаевой прервалась, не дотянув до половины². Анна Ахматова родилась в пригороде Одессы, одиннадцатого июня тысяча восемьсот восемьдесят девятого года в ночь под Ивана Купала, а Марина Цветаева в Москве двадцать шестого сентября тысяча восемьсот девяносто второго года, под Иоанна Богослова (по старому стилю).

Итак, в тринадцатом году старшей было двадцать четыре года, а младшей осенью исполнилось тогдашнее совершеннолетие, двадцать один год³.

Анна Андреевна вышла замуж за Льва Гумилева, Марина Цветаева за Сергея Эфрона. Значит обе, как женщины познали любовь и обе уже — матери: Лев Гумилев родился в один год с Ариадной Эфрон⁴.

¹ †1966. — *В.Л.*

² †1941. — *В.Л.*

³ См. синхронную хронологическую таблицу в книге автора. «Анна Ахматова и Марина Цветаева в зеркале русской поэзии XX века», Париж—Москва, Болшево 1999.

⁴ Биографические сведения даны в книге: Анна Ахматова, Собрание Сочинений в шести томах, Москва Эллис Лак 1998, Т. 1, стр. 495—672, глава Н. В. Королевой, «Жизнь поэта» и А. А. Саакянц «Твой миг, твой день, твой век. Жизнь Марины Цветаевой», Москва, Аграф 2002. Также: В. Черных, «Летопись жизни и творчества Анны Ахматовой», Часть I, Часть II, Москва, Эдиториал, УРСС 1996—1998.

Два русских поэта. Две молодые женщины одного поколения, но совершенно разного окружения. Тринадцатый год определяет дальнейшие пути обеих, как в личной жизни, так и в творчестве. Одна — известная поэтическая фигура Петербурга, вторая, пока начинающий поэт Москвы. В ту пору звонкими именами были поэты-символисты: Блок, Белый, Вячеслав Иванов, Николай Гумилев и другие. Ахматова уже заняла свое прочное место в современной поэзии, а о Цветаевой только начинали говорить и писать, но пишут такие крупные литературные фигуры, как Брюсов и Волошин.

Два города уже намечают топографию поэтического мира обеих женщин. Анна Ахматова не выбирала Петербурга. Ее судьба так сложилась, что она с молодых лет стала дышать поэтическим воздухом северной столицы. Цветаева же, по семейным причинам, была настоящей наследницей Москвы. И вирши одной парят над статуями Летнего Сада, а перепевы второй витают над колокольнями кремлевских башен.

Анна Ахматова с детства была связана с Петербургом, через отца. Андрей Антонович Горенко — красавец-черноморец, там служил и вел светский образ жизни, пока семья в Царском Селе и в Павловске жила, наоборот, довольно замкнуто. Ахматова затем вернулась туда уже замужней женщиной. Она видела тень Анненского, бродившего по паркам Царского Села, а позднее, прочитав в корректуре «Кипарисовый ларец», сама говорила, что тогда и «начала кое-что понимать в поэзии».

С того времени, за исключением периода эвакуации в Ташкент, во время Второй Мировой войны и наездов в Москву, в конце жизни, можно сказать, что Петербург-Петроград-Ленинград был действительно ахматовским городом.

У Цветаевой связь с Москвой сложилась иначе. В Москве она училась, вышла замуж, жила взрослой, из Москвы уехала в эмиграцию и в нее же вернулась в конце жизни.

Но на самом деле речь идет не только о биографических подробностях.

В первые годы взрослой жизни, как поэт, Ахматова невольна стала как бы Петербургской музой. Ее портреты распространялись на открытках и фотографиях, ее выступления на

поэтических вечерах воспринимались с большим энтузиазмом, и хотя она сама старалась защищать свою личность и скрывать подробности жизни, она все же пользовалась большой известностью с самого начала своего творческого пути.

Этому способствовало, кроме появления первого стихотворного сборника, ее участие в поэтической жизни Петербурга, знакомства с представителями разных поэтических групп и школ, выступления, в кабаре «Бродячая собака», например. Можно сказать, что в последние предвоенные годы в Петербурге на Ахматову была мода.

Связь обеих столиц была в то время тесной. Поэтическая жизнь в Москве развивалась иначе, чем в Петербурге, но молва о молодой звезде докатилась и до двадцатилетней Цветаевой. Тогда Цветаева уже печаталась в «Северном Вестнике» и в других журналах и у нее уже вышли два сборника стихов, «Вечерний Альбом» и «Волшебный фонарь». Ахматова же только что напечатала свою первую книгу «Вечер».

Вот тогда, для юной Цветаевой и явился новый ход на ее творческом пути: она осознает себя, как поэта, она — москвичка и постепенно любовь к родному городу порождает мысль защищать свою позицию, как московский поэт. Она скоро начнет составлять циклы стихотворений, прославляющие свою Москву и свою с ней кровную связь.

Быть может, такой выбор Цветаевой являлся на первых порах как бы вызовом в ответ на Ахматовскую славу. Или свою поэтическую личность Цветаева выдвигала ярче своим выраженным отказом от соперничества?

Как бы то ни было, через несколько лет она уже определяет такое деление: «Твой Петербург — моя Москва»¹. Однако игрою не злой, а скорее трагической судьбы, тень соперничества и ревности все же крылом коснулась Цветаевой в последние роковые дни в Чистополе. Вспомним: в чужом и для нее страшном городе Цветаева познакомилась с участливой Лидией Корнеевной Чуковской, и пробираясь с ней по гряз-

¹ Из стихотворения Цветаевой 1921 года: «Соревнования короста». См. по этому поводу статью А. Сумеркина, «Неизвестное стихотворение Цветаевой» в кн. Ахматовский сборник I, Париж, 1889, стр. 199–201.

ным улицам, слушала ее успокаивающие речи. Та обрадовалась, что в данный момент, в этом месте нет с ней Ахматовой, которая всего этого бы не смогла вынести. Цветаева воскликнула со злобой, «бешеным голосом»: «а, вы думаете я могу? Ахматова не может, а я, по вашему, могу!»¹.

Однако, возвращаясь к молодости, все похоже у этих двух женщин: и раннее замужество, и ребенок, и поэзия; даже названия первых сборников совпадают. Только лишь разница в любимых «столицах»? А если почитать первые стихи одной и другой, то обе они пишут о любви, ибо о чем же могут писать молодые женщины, по мнению Брюсова? О любви, несомненно. И первые стихи Ахматовой, которые она даже не сохранила, все были о любви. И первые стихи Цветаевой о потерянном рае детства и тоже о любви. Уже в двенадцатом году, Цветаева выпускает новый сборничек стихов, совсем тоненький, третий по счету, из двух книг.

Сравним предисловия к их двум ранним книгам.

К Ахматовскому «Вечеру»², в своем предисловии, поэт Михаил Кузмин писал о том, что у Ахматовой есть «первое понимание острого и непонятого значения вещей».

Цветаева сама написала предисловие к своему сборнику «Из двух книг», как бы в ответ на книгу Ахматовой: в нем она говорит молодым писателям: *«пишите, пишите больше /.../ Цвет ваших глаз так же важен, как и выражение; обивка дивана — не менее слов на нем сказанных./.../все это будет телом вашей оставленной в огромном мире бедной, бедной души».*

Несмотря на однородность мысли, удивительна целенаправленность этих двух отрывков: внутрь у Ахматовой, во внешний мир у Цветаевой.

Вот примеры из первых книг:

Ахматова. «Вечер».

*Белой ночью
Ах, дверь не затирала я,
Не зажигала свеч,*

¹ См. прим. (2). Цитирую по книге А. А. Саакянц. — В.Л.

² 1912 — В.Л.

*Не знаешь , как усталая,
Я не решалась лечь.*

*Смотреть, как гаснут полосы
В закатном мраке хвой,
Пьянея звуком голоса
Похожего на твой.*

*И знать, что всё потеряно,
Что жизнь — проклятый ад !
О, я была уверена,
Что ты придёшь назад.*

Цветаева. «Вечерний альбом».

*Так будет
Словно тихий ребенок, обласканный тьмой,
С бесконечным томленьем в блуждающем взоре,
Ты застыл у окна. В коридоре
Чей-то шаг торопливый — не мой!*

*Дверь открылась...Морозного ветра струя...
Запах свежести, счастья...Забыты тревоги...
Миг молчанья, и вот на пороге
Кто-то слабо смеётся — не я!*

*Тень трамваев, как прежде, бежит по стене,
Шум оркестра внизу осторожней и глуше...
«Пусть сольются без слов наши души!»
Ты взволнованно шепчешь— не мне!*

*«Сколько книг!.. мне казалось... Не надо огня;
Так уютней... Забыла сейчас все слова я»...
Видят беглые тени трамвая
На диване с тобой — не меня!*

В этих примерах и тематика несчастной любви, ускользающей реальности, особая поэтика предметов, служащих не просто фоном, а способом выражения скрытого «я», подробности жизни на лоне природы или в городе — все похоже.

Но все сказано по-разному: каждое стихотворение наводит на мысль о более поздних стихах, уже совсем разных , напри-

мер, у Ахматовой стихи про перчатку с левой руки, или у Цветаевой о нелюбви («*Как жаль что Вы больны не мною*»). Обе женщины рассказывают о своем страдании от нелюбви и обманчивости любимого, как будто правда, что для женщины не может быть другой темы. И вместе с тем, у каждой, с самого начала, свой особый стиль, своя подпись, своя «метка».

Можно сказать, что двадцатилетняя Цветаева в том тринадцатом году только начиналась, как поэт. А Ахматова к тому времени не только в действительности, но и в поэзии старше. Но у Цветаевой начинается новый поворот прочь от детства, и уже, в никогда отдельной книгой неизданных «Юношеских стихах», идет взрослый стихотворный поток.

Ахматова, со своей стороны, тоже пишет по-новому: идут «Четки». Различия, в обоих сборниках налицо: Ахматова останется навсегда поэтом с открытой виновностью и внутренней скрытой религиозностью, тогда как Цветаева уже пошла по пути характерного бунта и своего особенного «богоборчества»¹.

Читателю известны подробности замужества обеих женщин. У Ахматовой на всю жизнь осталась подчеркнутая связь с рано погибшим мужем. Николай Гумилев был очень в нее влюблен и не завоевал с ее стороны особой взаимности, но она берегла его память с определенной болью, отчасти, конечно, ввиду особенности его смерти: ведь он был первой политической и литературной жертвой нового режима.

Цветаева тоже была верна мужу, несмотря на многочисленные ранние и поздние, реальные или вымышленные романы. Эфрон тоже стал жертвой политики, и увы не последней. И чувство верности мужу у Цветаевой сопровождалось подчеркнутым ощущением исполнения рыцарского долга. Да так и было, когда она, вернувшись в Москву, стала составлять новую, неосуществленную книгу: она первым в сборник поставила стихотворение о любви к мужу, задавая таким образом тон всей книге, в условиях, когда не принято было вообще упоминать о «репрессированных» родственниках.

¹ (4) Уже появилась на эту тему еще неизданная диссертация: Chantal Crespel, Marina Tsvétaeva, Une Mystique de notre temps? Résonances bibliques et spirituelles au cœur de sa poésie lyrique, Paris – Sorbonne, juin 2003.

Но какие разные извилины судьбы! У обеих женщин уже есть ребенок. И теперь подробности биографии Ариадны Эфрон или Льва Гумилева подчеркивают трагизм материнской к ним любви. Казалось бы собраны все элементы для создания чисто женской тематики в творчестве: и несчастная любовь во множестве проявлений, и материнство, и интимность, соединенная с «распахнутостью» в творчество.

Но вот, в русской поэзии, где с давних пор было принято считать олимпийских певцов, среди представителей мужского пола, независимо от тематического разнообразия их творчества, появляются две женщины равных поэтических масштабов и абсолютно разных по своему «женскому» и «человеческому» естеству.

Одна общая характеристика их судьбы, в начале двадцатого века, это, по разным причинам, —непечатание. Ахматова сначала печатает одну книгу за другой. Anno Domini. МСМХХI появилась в двадцать втором, но это будет последняя ее книга на долгие годы. Цветаева продолжает писать, в некоторые периоды по несколько стихотворений в день, но печатать сборники не торопится. В двадцать восьмом году появится ее последний прижизненный сборник.

И наконец Цветаева уезжает за границу, Ахматова остается в России.

Но до исторического и для обеих рокового события русской революции, определившего всю дальнейшую их судьбу, в любовной лирике происходят еще новые перемены. В стихах Ахматовой появилась тема проклятия и виновности в связи с неблагополучной любовью. Это особенно ясно проявляется в книге «Белая стая». К этой теме Ахматова возвращается годы спустя, в «Поэме без героя», так и назвав часть Первую своего «Триптиха» «Тысяча девятьсот тринадцатый год»:

...
*Крик петуший нам только снится,
За окошком Нева дымится,
Ночь бездонна и длится, длится —
Петербургская чертовня...*

Уже во вступлении Ахматова писала:

*Из года сорокового,
Как с башни на всё гляжу,
Как будто прощаюсь снова
С тем, с чем давно простилась,
Как будто перекрестилась
И под тёмные своды схожу.*

Память о зле в прошлом, о вине своей из-за сотворенного в молодости и в истории своей и чужой наполняет все поздние стихи Ахматовой.

У Цветаевой появятся и виновность, и проклятие в кратком первом эпизоде сафической любви:

*Все глаза под солнцем — жгучи,
День не равен дню,
Говорю тебе на случай,
Если изменю:*

*Чьи б ни целовала губы
Я в любовный час,
Чёрной полночью кому бы
Страшно не клялась —*

*Жить, как мать велит ребенку,
Как цветочек цвести,
Никогда ни в чью сторонку
Оком не повесть...*

*Видишь крестик кипарисный?
— Он тебе знаком! —
Всё проснётся — только свистни
Под моим окном!*

Юношеские стихи, цикл «Подруга».

Годы спустя, Цветаева вернется к теме сафической любви в своей «Повести о Сонечке». В ней она уже в прозе будет защищать искусство женщины-поэта в творении своей собственной любовной песни, которая до сих пор, скажет она, описывалась лишь в мужских произведениях: любовь имели

право воспевать только поэты-мужчины, в то время как любимая оставалась бледным шаблоном, вписанном в медальон мужских образов или перепевов.

Любовная тема в творчестве Цветаевой обогатилась, принимая три разных формы, оттенки которых она черпала в опыте своей любви к дочери Ариадне, к Софье Парнок, на извечном подтексте любви и верности мужу Сереже, Белому рыцарю.

Первая мировая война, за ней вслед русская революция, изгнание и бедности, или жизнь в опале дома — таковы были исторические условия творческого пути обеих женщин, начавшиеся в том роковом тринадцатом году.

Позже, Ахматову захлестнула история, начиная с войны, и, вслед за ней ее постигли опала, репрессии и Вторая мировая война, вплоть до поздно наступившего времени ее признания, как великого русского поэта двадцатого века. Тема несчастной любви первой книги будет расти, по мере того как будут бушевать штормы и бури истории и события в личной судьбе, и озвучивать с некоторых пор каждую ее строку.

В тринадцатом году Ахматова писала историю своего становления как поэта «У самого моря», а в последние двадцать лет своей жизни оглядывалась на все свое прошлое («Поэма без героя»).

О Цветаевой, когда появились первые две книги ее «детства» и когда писались «Юношеские стихи» еще не было известно, что одиннадцатые — тринадцатые годы были самыми счастливыми в ее жизни. Творческий путь открывался во всей широте своих масштабов. Хотя смерть касалась ее семьи уже несколько раз, через кончину самых близких ей людей и появилась в творчестве, сначала как романтический стихотворный всплеск, отчасти под влиянием творчества и раннего ухода Марии Башкирцевой — ей ведь был посвящен первый раздел первой ее книги¹, смерть вскоре выльется в настоящую глубокую тему, окрашивающую даже те строчки, где жизнь бьет ключом, и поэт, как птица, мощными крыльями взмахивает над миром.

¹ См. по этому поводу: И. Шевеленко, Литературный путь Цветаевой, Новое литературное обозрение, Москва 2002, глава I, «Гимназистка».

Начиная с тринадцатого — пятнадцатого годов, открылся путь жизни стихами, и до конца они останутся «о юности и смерти».

Также останется навсегда у обеих женщин, русских поэтов: у первой в самом гармоническом разливе строф — плач по земле русской, а у младшей в самих переборах ритмов и рифм — взрыв и обрыв.

Историки литературы часто задают вопросы, ответов на которые нет и не может быть, когда действительность уже сложилась иначе, чем казалось в начале, по руслу начертанного пути. И все же хотелось бы погадать: не помешали ли они друг другу, если бы Ахматова и Цветаева, остались в России? Или наоборот, если бы Ахматова тоже уехала?

Допустим Ахматова сдалась бы на уговоры Бориса Анрепа, или позднее, когда еще уехать было возможно. Вошла бы она в многоязычную культурную среду Германии, Англии или Франции? У нее были на это данные до войны. Она знала языки. У нее уже были изданные книги.

Но ведь Цветаева тоже знала языки и росла в культурной среде. За границей она поначалу много печаталась, однако во французскую литературную среду она не вошла¹. И жилось ей не легче, чем Ахматовой, даже если она и не голодала, как старшая, даже если ей и помогали друзья, но, несомненно, меньше, чем Ахматовой помогали, и в Ленинграде, и в Ташкенте, и в Москве.

А если бы Цветасва не уехала? Если бы она, вслед за любимым Пастернаком вернулась в Москву, в конце двадцать второго года? Зная ее бунтарский нрав, каждый скажет, что ее бы арестовали сразу. Однако ее сестра, Анастасия добилась поездки за границу в двадцать седьмом году. И посадили ее только в тридцать седьмом! Может быть, Марина тоже дотянула бы до тридцать седьмого? А Ахматову ведь в тридцать седьмом не посадили! Зато сын у нее сидел три раза!

¹ См. подробности об эмигрантской жизни Цветаевой в книге Ирмы Кудровой «Путь комет: жизнь Марины Цветаевой», Санкт Петербург, Вита Нова, 2002, и в моей книге «Марина Цветаева в жизни», Москва, Культура и традиция 1992, второе издание, Москва, Прозаик, 2011.

Появились бы тогда, впервые, в одном веке, в одной России, два крупных русских поэта-женщины ?

Вероятнее всего не следует гадать, личную судьбу не изменишь. Остается слава. Не слава, но признание к Цветаевой пришло в Европе и в Америке, через долгие годы, после ее смерти, то есть только к концу прошлого века. А слава Ахматовой в России началась сразу после смерти Сталина, но померкла к началу известности и отъезду из России Иосифа Бродского.

Ахматова его защищала, когда он был арестован, последние годы он ей сопутствовал. Тем не менее, он ставил Цветаеву выше.

В последние годы прошлого века, когда поднималась звезда Цветаевой, и звезда Бродского стала сверкать ярче, стали опять раздаваться голоса в защиту Ахматовой, как «лучшей», как «первой», как «самой...»

Вероятно не только гадать, но даже устанавливать шкалу ценности не следует. Но просто признать, что два поэта-женщины России украсили своими стихами весь век, каждая по-своему и каждая по-новому.

И это украшение начало цвести как раз около того знаменательного тринадцатого года, с которого начался весь этот разговор и «настоящий двадцатый век», как любила повторять Ахматова..

*Париж.
Франция*

Примечание

Н. В. Ввиду того, что теперь существуют достаточно полные издания стихотворений Анны Ахматовой и Марины Цветаевой, отсылки к примерам не даются.

Аркадий Осипов

«...Мои мерцающие сны»

Облака

*Синей грядкою ждёте у края
Голой земли.
Солнечно в доме, сухо на камне,
Воздух звенит.
Только каймою, только оправой,
Тенью зари
В мареве зноя знаете право
На сентябри.
Будут дожди и с печалью немою
Месяц воды.
Только не жди над своей головою
Синей гряды.
Только не плачь, не ищи озаренья,
Туч не моли!
Время удач, исполнения время
Вечно вдали.
Снова сойдутся синей грядкою
Возле лесов.
Будешь тянуться, бредить водою
Их голосов.*

* * *

*Ты слышишь вздох тяжёлый мой,
Ты видишь всё, как есть:
И город, скованный зимой,
И потолок над головой,
И в окнах сумрак голубой,
И безнадежный жест.*

*Тебе понятны и ясны
И слиты в тихий смысл
Мои мерцающие сны —
Полупредчувствия весны
В сиянии светлых риз...*

*И страх в углу, и ход часов,
И пыль, и тишина...
Не Ты ли в гуле голосов,
Вздыхнув над чашками весов,
Уже назвал меня?*

*И всё вокруг, и всё вокруг,
Исполнившись Тобой,
Запоминает этот звук:
И тьмы зияющий испуг,
И заблужденье ломких рук
Над грешной головой...*

*Не опоздавши ни на миг,
Сквозь ходики пройдёт
Морозный свист, случайный блик,
Мой затуманившийся лик,
Мой вздох, отчетливый, как крик,
Мой обнажённый рот...*

Последний лист

*Придёт пора, и оборвёт
Последний лист осенний ветер.
О, этот лист! Один на свете
Играет золотом, живёт.*

*Всё лето долгое страдал,
Роптал и в силе, и в бессилье —
Зачем восторженности крыльев
Создатель дереву не дал?*

*О, этот лист! За всех, за всё
Он чистым золотом оплатит,
Слезой горло перехватит,
Ознобом поздним сотрясёт,*

*Чтоб с очевидностью тщеты
И в неутешном сожаленье
В земле запутались корни
И ствол простыл до немоты,*

*Замкнув ещё одно звено
Цепи годов, цены страданья,
Когда в упрек и в увяданье
Природе золото дано...*

* * *

*Как я блуждал в лесу! Спасала ли усталость,
Или стихия сил добрей, чем знаем мы?
Где потерялся я, что от меня осталось
У света на краю и на границе тьмы?*

*Но я и досе там — то солнечный, то чёрный,
Под яростью дождей, под жгучей синевой,
Доверчивый всегда и вечно обречённый,
Отпето мёртвый и отчаянно живой.*

*Я просто ноги нёс, я просто маял тело
Незнаньем — умереть, и неуменьем — знать,
Зачем упала тень и хвоя запотела,
Зачем сгребать листву и в нору заползать,*

*Зачем искать лицом нечаянную встречу,
Ломиться сквозь кусты, аукать через гать
И косною своей, непонятою речью
Ответное «ау» внезапно испугать?*

*...Нет, я не виноват, что вытоптан, что выжжен,
Что неуёмно пью из каждого ручья,
Что сил не исходил, неоправимо выжил,
О чём-то навсегда уже перемолчал...*

* * *

*Зачем январский день так откровенно бел?
Зачем, за купола закатываясь, солнце
Так помнится, так отражается в тебе,
Как будто никогда на небо не вернётся?*

*Зачем бескрайна даль с заснеженной горы?
Зачем лиловый лес вдали как будто снится?
Так мягко оттенил долины и бугры,
Как будто никогда уже не повторится?*

*Зачем перехватил и туго горло сжал
Искрящийся мороз, осевший на ушанку?
Зачем на пустыре сиреневый пожар
С сухою лебедой и сердцем наизнанку?*

* * *

*И не помню, когда я ушел от прозрачного,
От пропахшего осенью дыма берёз,
Своего, незаёмного, предназначенного,
Голубым-голубого от неба и слёз.*

*И не помню его – лесника ли, прохожего...
На траве – две тропы да роса на весу.
Всё отчетливей вижу себя, непохожего
На того, позабытого в мокром лесу...*

Борис Хазанов

Русский путь

«Радио предсказало бурю, ураганный ветер несется с Атлантического океана, вот-вот обрушится на нас. Все еще спокойно здесь, на юге. Но ждать остается недолго. Ах, не люблю я эти вечные перепады погоды».

Я смотрю на хозяйку, стараюсь угадать, какой она была десять, двадцать, тридцать лет тому назад.

«Я была женщиной, вам это что-нибудь говорит? Я была женщиной и больше никем. По-моему, этого достаточно... Послушайте, — сказала она, — оставьте все эти ваши приготовления. Они сбивают меня с толку. Лучше подойдите к окну, станьте ко мне спиной, так мне будет удобней. Представьте себе, что я — плод вашей фантазии».

Я не беллетрист.

«А вы попробуйте. Да, вы меня выдумали, я буду главным действующим лицом, и вот вы смотрите на пустынное озеро и соображаете, что со мной делать. А я буду знать, что я литературный персонаж и мне положено зажечь своей жизнью, совершать непредвиденные поступки, как Татьяна, когда она выскочила замуж, не спросившись Пушкина. Похожа я на Татьяну?»

Непроизвольно моя рука тянется за портсигаром, можно ли здесь...?

«Можно, но только мне. Впрочем, я не курю. Если уж так невмоготу, можете выйти на террасу, хотя и это не рекомендуется. Вы спросили, как я очутилась в Баварии...»

Выехав рано утром, я отправился по Восьмой автостраде на юг, по направлению к Тегернзее, вскоре навстречу мне под-

нялась и перегородила небо сизо-серебряная гряда гор; миновал Роттах-Эгер и, поднимаясь все выше, углубился в таинственную лесистую местность, которая в атласе именуется Шлирзейскими горами; пришлось то и дело справляться по карте дорог.

Стал накрапывать дождь, все реже попадались деревни, я несся по узкой извилистой дороге между царственными елями, тормозя на поворотах, но теперь уже никто не попался навстречу. На все это ушло много времени. Дом стоял на склоне, защищенный от ветра горой и зарослями туи.

«Вам, милейший, надо бы придумать какую-нибудь совершенно фантастическую версию — так интересней. Ах, друг мой! — сказала она. — Бросьте вы эту журналистику, все эти репортажи, дурацкие интервью, смотрите на все как на сюжет для литературы, напишите роман. Что-нибудь прибавьте, измените имена, придумайте эффектную развязку, не мне вас учить. И получится во сто раз занимательней, чем эта скучища, которой вы собираетесь угостить ваших читателей».

Пауза.

«Хорошо, идите на террасу... даю вам пять минут».

Но меня что-то удерживает, странное чувство, вернее, суеверие. Может быть, такое чувство испытывали те, кто когда-то был с ней. Страх ее потерять. Какая-то хитринка мелькает в ее взгляде. Снаружи беспокойно, по озеру бегут волны; вернешься в комнату, прикроешь за собой стеклянную дверь, — а хозяйки нет: пустое кресло. Она исчезла. Она вернулась туда, откуда прибыла: в свое прошлое. Оказалась в самом деле порождением моей нерасчетливой фантазии

Послышалось слабое повизгивание роликов. Въехал столик. Некто с плоским светлым лицом, в седых бакенбардах, с бабочкой на жилистой шее, расставил бокалы, бутерброды, откупорил вино.

«Это ирландец, — сказала она, проводив его глазами, — он не знает ни слова по-русски...»

Вздыхнув:

«На самом деле все было очень просто: нас выпустили. Что за выражение! Выпускают из тюрьмы, из неволи. Мы и жили

в неволе. Правда, мне тогда было восемнадцать лет, в сущности, я гораздо позже осознала, в какой стране мы жили. Для меня было важно только одно: он уезжает — значит, и я с ним. Жалею ли я, что так случилось? Нет, не жалею. Вся моя история от начала до конца была историей любви, вот так».

Меня интересовали подробности, реальная сторона дела, но я не знал, как к ней подступить. Намеком я дал ей понять, что мне хотелось бы знать, к примеру, как она утратила девственность.

«Как? Да никак. Прыгала, прыгала и допрыгалась. Да меня это и не очень-то волновало. Для меня это был уже пройденный этап».

Мы подняли бокалы, она отпила глоток.

«Меня спрашивали потихоньку: какого лешего я за него уцепилась? Я была, что называется, красоткой. А он? (Смешок). Он был ниже меня ростом, это считалось серьезным недостатком для кавалера. Поэтому, между прочим, я никогда не носила туфель на высоких каблуках. Но дело в том, что „кавалер“, „поклонник“ — все эти слова для нас совершенно не годились. Какой он был кавалер? Он был уродлив, как многие умные евреи. Ухаживать не умел, да и не старался. Он просто решил, что я буду его подругой, — и никаких объяснений в любви; а лучше сказать, решила я. Видите ли, я просто так устроена».

Мы молчали, она смотрела в одну точку, я не торопил ее, снова явился ирландец и водрузил передо мной огромную пепельницу.

«Он сжалился над вами».

На всякий случай я спросил:

«Может, мне выйти на террасу?»

Я остался сидеть, прикованный к своему креслу, к ее отрешенному взгляду.

«Он был угрюм, я — весела, он был ночь, я — день. Он мог задуматься, нахмуриться, нахохлиться, ничего не видел вокруг, а я — во мне все играло. Всякое движение, поворот плеч, игра бедер, рука, которая сама собой тянется поправить волосы, молниеносный взгляд вот так, из-под ресниц, в сущности,

ничего не значащий, но я умела ему придать загадочную многозначительность, — все было мне послушно, все как будто говорило: посмотрите на меня, оцените! Все отвечало малейшему движению души, мое тело было моей душой. Да мне и не нужно было прилагать никаких усилий, я знала, что все любят мною. Есть такая соль-мажорная соната Шуберта, там в последней части все это сказано необыкновенно точно».

«Опять же находились и такие, кто не стеснялся меня уговаривать: ты же русская, опомнись, что тебе там делать? И, озлившись, я отвечала, что потому-то и еду, что я русская. В конце концов, какая разница, — главное, быть вместе, не правда ли? К тому же я вбила себе в голову, что никакая женщина, будь она хоть трижды еврейкой, не сумеет быть для него тем, чем буду я. До этого времени я плясала и порхала, а тут внезапно превратилась в собственницу».

«Что я могу вам сказать — он ввязался в историю с подпольным журналом, вы, конечно, о ней не можете помнить. Но тогда она была притчей во языцех... в наших кругах. Не буду рассказывать, скажу только, что последствия не заставили себя ждать, очень скоро настала его очередь; при первом обыске ничего не нашли, потом какая-то странная кража среди бела дня, нас не было дома, взломана дверь, что-то унесли для виду, позже оказалось — клоп вмонтирован в углу под потолком. Телефон тоже прослушивался. Машина у подъезда. Как-то раз Олег постучался в стекло и сказал: ку-ку! Там сидел какой-то хмырь. Второй раз гости явились при мне. Скучно все это вспоминать».

«Родители осуждали мой выбор, мама еще туда-сюда, но отец был особенно недоволен. В конце концов им пришлось примириться с тем, что время от времени я ночую не дома. Облава произошла на рассвете, длинный звонок, я вышла в прихожую в одной рубашке: кто там? Проверка документов. Якобы ищут, кто живет без прописки. Если бы вышел Олег, он бы сразу понял, мы успели бы кое-что припрятать, сбросить на балкон нижнего этажа; что-нибудь такое. Но я ни о чем не подозревала, не знала, что это у них обычная формула. Открыла, сразу ввалилось восемь мужиков. Мой Олег сидит

на кровати, мрачно поглядывает на всю компанию. Потом вдруг громко обложил их всех трехэтажным матом. Я никогда не слыхала от него таких выражений... Вообще он уже ничего не боялся. Четверо роятся в белье, трясут и швыряют на пол книжки, развинтили стиральную машину, остальные рядком на диване, так называемые понятые, сидят, скучают. По вас, сказал он, дрын тоскует. В колхозе надо работать, а не груши... околачивать! Квартира была перевернута вверх дном. Дирижировал следовательно, плюгавый мужичонка».

«Этот следовательно позвал меня на кухню для разговора. И опять я услышала то же самое: вы русская женщина, что вас связывает с этим человеком? Я говорю: это вас не касается. Хочу вам дать добрый совет, сказал он. Такая красивая девушка, как вы, могла бы найти более подходящую пару. Вас, что ли, сказала я. — Ну зачем же так. Я ведь только в ваших интересах. Не хочется вас пугать, но сами понимаете. Так что передайте вашему сожителю: если он не хочет новых неприятностей, пускай подает на выезд в Израиль. С ударением на последнем слоге — так они подчеркивали, подражая высшему начальству, свое особое презрение к этому государству».

«В нашей компании было несколько человек, которые годами сидели в отказе, мы думали, что и нам придется ждать неизвестно сколько времени. Никто ничего не знал. Существовала теория шкафа. Будто бы где-то там стоит шкаф, битком набитый заявлениями желающих уехать. Когда открывают дверцу, то чье-нибудь заявление вываливается. Он и получает визу. Но, видимо, там решили избавиться от Олега поскорей. Вызов от мнимых родственников принесли с почты прямо на дом».

Предсказание стало сбываться, что-то выло и погромыхивало вдаль. Со свистом пронесся черный ветер, в комнате стало темно. Сверкнул огонь, лик хозяйки осветился, и небо треснуло. Дробный шум заглушил все звуки. Минуту спустя газон был уже весь усыпан белой крупой. Град барабанил по крыше террасы. Затем полил дождь. Словно зачарованные, мы сидели в сумерках среди дымно-серебряного потолка.

Я спросил, были ли колебания.

«Какие колебания?»

Куда ехать.

«Ах, это... Он говорил, что ему все равно. Этот обыск был последней каплей. Он говорил, что дышит азотом. Все обрыдло; куда угодно, лишь бы вон. А я считала, что мы должны ехать в Израиль».

Вот как?

«Конечно. Так я ему и сказала: это единственная страна, где ты не будешь чувствовать себя эмигрантом. Тебя ждут, у тебя там друзья. А куда еще? — Он усмехнулся. Мир велик! Представляешь себе, мы будем совершенно свободны. Имеешь ли ты вообще представление, что такое свобода? — Имею, сказала я. Мы поедem в Израиль. — Я не знаю язык. — Ну и что? Никто не знает. — Я никогда не научусь. — Зато я научусь. И ты тоже научишься, надо только захотеть. Ты все можешь, если захочешь. И потом, сказала я, будет некрасиво, если мы повернем в другую сторону. Люди для нас старались, прислали вызов, а мы им ответим черной неблагодарностью».

«И мы прошли все мытарства и унижения, связанные с отъездом. Эта всеобщая злоба, волчьи взгляды, слова, которые не произносились, а цедились сквозь зубы... Чиновники в учреждениях, где надо было получать бесчисленные справки, как будто поставили себе целью окончательно убить в нас последние сожаления, нет, — она провела рукой по волосам, — убить последние остатки патриотизма.

Я уж не говорю о том, что было, когда приехали в Шереметьево, в аэропорт, об этом сладострастном вытряхивании нашего скарба, обысках с раздеванием догола, когда тебе заглядывают спереди и сзади... Кто они были? Простые советские люди, так это называлось. Словом, мы вздохнули с облегчением, оказавшись, наконец, в самолете. И когда земля побежала под нами, родина, которую никогда больше не увидишь, — поверьте мне, мы не то чтобы не пролили ни слезинки, мы были счастливы!»

Она продолжала:

«Он был разочарован. Он ничего не говорил, но я это видела. Все-таки его там знали, он рассчитывал на другой прием.

Думал, что его встретят с распростертыми объятьями. А ему предложили всего лишь скромное место в редакции русского журнала, зарплата копеечная. Кроме того, от него ждали, что он окажется, как все, государственным патриотом. А мой Олег любил говорить: я анархист. Его с души воротило от национальной гордости, вообще от всего этого. И он не умел работать. Он все знал, все читал, о чем угодно мог рассуждать.

Но реальной профессии не было. Зарабатывать должна была я... Господи, не подумайте, что я была на него в обиде. Я была счастлива сделать для него все что могу. Могла я, правда, немного, я ведь тоже ничему как следует не училась, но меня не пугала никакая черная работа. Убирала квартиры, мыла полы, ухаживала за больными. Как-то раз он мне говорит: небось, пристают к тебе. Жалко продавать свою красоту, а? Все во мне вскипело, я чуть не крикнула: дурак! Как был дураком, так и остался! Но вместо этого заплакала. Он опомнился и стал просить прощения. Откройте дверь...»

Я вышел на террасу, все сверкало и блестело. Слепящее низкое солнце стояло над пепельно-лиловыми горами, на озерную гладь было больно смотреть. И тишина, какой я не слыхивал.

Она осталась сидеть в своем кресле. Я знал в общих чертах, к чему идет дело, но мне хотелось услышать от нее самой. И, конечно, я уже не помышлял ни о каких репортажах.

«Мы не то чтобы прижились, но стали понемногу привыкать, появились новые друзья, завязались знакомства; я научилась болтать на иврите, чего нельзя было сказать о моем муженьке. Мы жили в Ашдоде, в новом многоэтажном доме, на восьмом этаже, с балкона открывался изумительный вид. Олег ездил в Тель-Авив, в свою редакцию, — то ездил, то не ездил; бывало так: прихожу с работы, оказывается, он весь день просидел дома; спрашиваю: срочная работа? Он пожимает плечами. Что же ты делал? Да так, ничего. Гулял? Нет, жарко. А на самом деле городок находится у моря, климат прекрасный».

Ностальгия?

«Не знаю; вообще говоря, я заметила, что евреи больше, чем русские, страдают от тоски по России. Но, повторяю,

как *там* я часто не могла понять, что с ним происходит, так и здесь — иногда, по крайней мере».

«Мне казалось, он от меня куда-то уходит. Однажды я расхрабрилась и спросила: тебе со мной в тягость? Он изобразил какую-то неопределенную мину, пожал плечами. Эта отвратительная привычка — пожимать плечами вместо ответа. Я сказала: почему ты не хочешь ребенка? Никакой реакции. Вот возьму и рожу, сказала я, и тебя не спрошусь. В другой раз я его спросила: может, у него кто-то есть, а мне лучше отселиться. Он тяжело, недобро посмотрел на меня, потом отвел глаза и усмехнулся. И тебе, пробормотал он, не стыдно так спрашивать? Я обрадовалась...»

Само собой решилось, что я остаюсь ночевать. Явился снова молчаливый ирландец, хозяйка кивнула, въехал столик, и мы поужинали. Потом, как водится, кофе, несколько рюмок хорошего коньяку. Мне была предложена сигара, я предпочел выкурить папиросу на террасе. Тем временем внесли свечи. И все изменилось, второй раз после отъезда из СССР судьба ударила в колокол. Он выбросился из окна.

«Его закопали в песчаной земле Израиля, сняли „нер тамид“ с крышки гроба — плоску со свечой — и отнесли ее домой, она должна была гореть тридцать дней; никаких траурных карет, катафалков — по традиции все должно быть очень скромно, гроб несли на руках, молча, никаких речей, протянули мне ножницы, и я надрезала платье, кантор запел „хевра кадиша“. Олег не понял бы там ни слова».

«Я не знала, куда деться, отупела от горя, у нас было немного денег, хотела съездить куда-нибудь. Но тут...»

Она умолкла. Я ждал.

«Тут случилось так, что моя жизнь пошла по-другому. Как будто стрелочник перевел стрелку. Не знаю, с чего начать».

Начните, сказал я, с середины.

«Была такая Минна, Минна Розенталь, она приехала с родителями в Эрец Исраэль в тридцатых годах. К тому времени, когда я с ней познакомилась, она успела похоронить всех своих родственников. В мае начинается жара; я должна была

сопровождать Минну в Германию, куда она выезжала каждое лето. Минна была довольно противная старушонка, ей нужна была провожатая не столько для ухода, сколько для того, чтобы доказывать, что все ей чем-то обязаны. Думаю, что ее друзья, такие же старухи, как и она, страдали от ее капризов еще больше, чем я. Для нее покупали путевку в санаторий, перед этим мы провели некоторое время в Мюнхене у Ирмы Рюкварт-Бисмарк, внучки или правнучки того самого Бисмарка».

«И вот однажды мне сообщают, что со мной хочет поговорить один человек, ein Herr. Кто такой? Herr Ludwig Graf Seydlitz-Gumbinnen — звучит шикарно, не правда ли? Я тогда по-немецки совершенно не знала, учила в школе, но все забыла. Не беспокойтесь, граф говорит по-английски. Но я и по-английски не очень. Ничего, как-нибудь. Этот Зейдлиц был дальний родственник Ирмы. Высокий, худощавый, с костлявым лицом, на вид лет пятидесяти, волосы гладко зачесаны, седые виски, такие мужики всегда нравятся женщинам.

Мне он показался каким-то хлыщом. Не говоря уже о том, что мы все в Израиле относились к немцам, ко всем немцам, мягко говоря, с недоверием. Был чрезвычайно любезен. Я ответила, что уезжаю через два дня с Минной в Бад-Тельц. Он сказал: очень хорошо. У вас будет время подумать над моим предложением. И назвал — как бы между прочим — такую сумму, что я мысленно ахнула».

«Знает ли об этом госпожа Бисмарк? — Разумеется; она мне вас рекомендовала. Что касается фрау Розенталь, то этот вопрос мы уладили. — Что значит уладили, сказала я. Все это мне очень не нравилось, он словно заранее был уверен, что я соглашусь. Мне даже показалось, — хотя это могло быть предубеждением, я же говорю, как мы относились к немцам, — что в его голосе звучат нотки приказа. Да и Минна, при всем ее сварливом характере, привязалась ко мне. — Знает ли она о его намерениях? — Мы найдем вам замену, сказал Зейдлиц».

«Между тем моя Минна, узнав, устроила сцену. Я слышала ее крики в соседней комнате, хотела утешить ее, сказать: я все еще не решила. Но колебалась. Представляете себе: Мин-

на девочкой бежала из Германии, когда там все это началось, спаслась от гибели в газовой камере, а я собираюсь там жить. Вероятно, она приписывала мое согласие — хотя окончательного ответа я пока еще не дала — тому, что я не еврейка. Минну тянуло в Германию, как всех немецких евреев, и все они дали себе зарок никогда не возвращаться. Понемногу все стихло. Когда я вошла, Минна подняла ко мне жалкое, сморщенное, залитое слезами лицо».

«Недели через две Бисмаркша приехала навестить нас в Бад-Тельц, и этот граф с ней. Он предложил мне прогуляться. Его жена была оперирована два года тому назад, лечилась у лучших докторов, минувшей осенью даже ездили в Индию, в Гималаи, в какую-то особенную клинику, где лечат диетой из проросших зерен; вначале как будто помогло, но последние месяцы она уже не встает с постели. Она лежала наверху. Дом, когда к нему подъезжаешь, кажется небольшим».

Мы устали на неподвижные язычки огня, дверь наружу была приоткрыта, воцарилась глухая тишь, лишь откуда-то издали доносился прерывистый голос одинокой птицы; я спросил, не устала ли Frau Gräfin. Оставьте, ответила она, меня зовут Лидия. Я вышел на террасу. Озеро, черное и безбрежное, тускло поблескивало отраженным холодом звезд. Привыкнув к темноте, можно было различить силуэт гор. Мне стало зябко, я вернулся в комнату. Лидия, закутанная в белое и пушистое, неподвижно сидела в своем кресле.

Я что-то пробормотал насчет романтической ночи. Да уж куда романтичней, возразила она.

«Мистер Хоук с женой работали тут давно, с ними я поладила относительно легко. У нас были разные обязанности, они не могли видеть во мне конкурента. А вот мадам встретила меня в штыки. Она лежала, исхудавшая, на высоких подушках, посреди роскошной кровати, весь ее вид как будто говорил: это еще что за новость?..

В первый день, когда я вышла из спальни, одетая, как положено, в сером переднике и в косынке, граф подошел ко мне извиняться; я сказала, что все понимаю. Я стала работать, меня

поселили в комнатке наверху. Машины у меня не было, так что я все время проводила в доме...»

Я задал вопрос, в котором Лиде почудился скрытый намек. Она усмехнулась:

«Вот видите, вы последовали моему совету».

Какому совету?

«Помните, я говорила, что вам бы надо сделать из моей истории что-нибудь вроде романа. Но вас не уговоришь... Вернемся к нашим баранам; сколько мне было тогда лет? Подождите. Двадцать шесть или двадцать семь. Я по-прежнему была хороша собой. Пожалуй, стала еще привлекательней. Понимаю, о чем вы подумали. Может быть, вы и правы. Но все-таки не совсем. Должна вам сказать, что я относилась к своим обязанностям добросовестно и ни о чем другом не думала. Разве что глубоко где-то, в подсознании, мелькало что-то такое. Во всяком случае, я гнала от себя такую мысль...

Мой работодатель был доволен, Грете — ее звали Аннегрет — тоже в конце концов сменила гнев на милость. Она была беспомощна, бедняжка, и понимала, что ей без меня не обойтись. Мы даже сблизились, чисто по-женски. Зейдлиц обычно вставал рано, купался в озере, завтракал очень скудно (этим ведал Хоук), говорил по телефону со своим маклером, — я потом узнала, что он играл на бирже, — и уезжал, иногда на несколько дней, но не больше недели, всегда предупреждал и всегда возвращался в срок. Мне кажется, Грете и до болезни втайне страдала от его холодности. Но таков был стиль их совместной жизни, и болезнь ничего не изменила. У них была дочь, единственная, после которой Грете по каким-то причинам не могла больше забеременеть. Дочь эта была в давнишней ссоре с матерью, я ее никогда не видела. Была ли у Людвига женщина на стороне? Не знаю. Грете говорила: я догадываюсь, то есть я даже точно знаю. — Кто такая? — Не хочу о ней говорить. Но он на ней никогда не женится».

«Однажды она сказала: вот я приду и проверю. Разве ты не знаешь, что мертвые являются с того света? Вот и я явлюсь. Посмотрю, с кем он теперь».

«Приезжали врачи, делали уколы. Потом возникла необходимость время от времени выпускать жидкость из живота. Я проводила с больной почти весь день, а то, бывало, и ночи просиживала возле нее. Она боялась умереть. Днем держалась, вообще вела себя с исключительным мужеством, а ночью...

Ночи бывали очень тяжелые. Снотворные мало помогали. Она просила включить музыку. Тогда я, между прочим, услышала в первый раз ту сонату Шуберта, о которой говорила вам... Грете кое-что рассказывала. Она тоже происходила из какого-то знатного рода, но от былых владений еще до войны ничего не осталось, жила с родителями в Дрездене и до самой смерти говорила с акцентом, так что и я переняла от нее этот смешной саксонский выговор, от которого мне потом пришлось долго освобождаться».

· А сейчас, спросил я.

«Сейчас научилась по-здешнему, а куда денешься? Знаете, ведь в Германии, куда ни приедешь, всюду свой диалект. А вы знаете немецкий?»

Я сокрушенно развел руками. Похвалил ее русский язык. Конечно, чувствовалось, что она давно живет вне России, но мне хотелось ей польстить. Бывает ли она на родине? Лидия покачала головой.

«Так вот... Дом сгорел, и вообще вокруг одни развалины, мать и отец погибли, братья — один убит, другой пропал без вести. Грете осталась одна, где-то ютилась. Однажды — кто-то посоветовал — написала письмо дальнему родственнику. И куда бы вы думали? В Россию. Догадайтесь, кому».

Он там был?

«Почти всю войну. Сначала во Франции, но всего несколько месяцев, потом их дивизию перевели на Восточный фронт. Завязалась переписка, а когда он вернулся, разыскал ее, и поженились. О том, что у Зейдлица до нее была семья, Грете не вспоминала. Но я вам не рассказала самого главного: как я поехала с Людвигом в Москву».

В Москву?

«Знаете, времена изменились; вы это, конечно, не можете помнить. Западные немцы стали ездить в Россию. Одним сло-

вом, какая-то делегация, Зейдлиц состоял в разных комитетах, в Баварии это принято, чтобы почетным председателем был человек с громким дворянским именем. Крупные фирмы держат таких людей для представительства, для приемов: высокий рост, аристократические манеры, безупречный английский, все такое.

И вот он зовет меня в свой кабинет — как раз над нами, — прекрасно обставленный, из широкого окна вид на озеро, портреты предков, книги. Правда, я никогда не видела, чтобы он что-нибудь читал, кроме газет и «Шпигеля». В углу на отдельном столике, как полагается, фотографии: родители, бабушки, дедушки, он в коротких штанишках, он с Аннегрет, он в мундире, Ritterkreuz¹ на шее».

«Прихожу; Людвиг сидит за письменным столом, чрезвычайно занят, на меня не смотрит, перелистывает бумаги. Я стою в своем светло-сером платье в талию, пряменькая, чулочки, туфельки, воротничок, передник — пай-девочка. Наконец, он собрал свои бумаги, захлопнул папку и завязал ленточки. Взглянул на меня. — Я еду в Москву. — Снова молчание, я жду распоряжений. — Прошу сопровождать меня».

«Естественно, мой первый вопрос — кто же останется с больной. Разумеется, разумеется, проговорил он. Дескать, понимаю и ценю вашу забсту. Мы будем отсутствовать не больше недели. Меня заменит миссис Хоуп. И, кроме того, будет приезжать сестра из Hospiz. Это такое заведение вроде приюта. Так что, — и он улыбнулся, — готовьтесь к встрече с вашим отечеством. Очевидно, я была нужна ему как переводчица».

«Н-да... встреча с отечеством. Я не была там — посчитайте сами, сколько лет. Первые годы я переписывалась с мамой, письма из Израиля доходили плохо. Один поклонник писал довольно долго, плакался, грозился приехать и увезти меня. А меня туда, знаете ли, совершенно не тянуло. И вот теперь...

Конечно, когда самолет стал снижаться, когда колеса стукнулись о посадочную полосу и я увидела над низким здани-

¹ «Рыцарский крест», вторая высшая ступень военного ордена Железный крест. — Ред.

ем буквы: МОСКВА, что-то во мне перевернулось. А еще больше, когда я услышала голоса: все вокруг, все люди, и не только люди, но и стены, плакаты, вывески — все говорит по-русски. Вместе с тем это была какая-то другая речь, я отвыкла от этих вульгарных интонаций, от матерщины, мне казалось, что раньше этого не было, я поглядывала на немцев и думала: слава Богу, что они ничего не понимают. Верите ли, мне было стыдно — стыдно за *мою* Россию, какой-то странный патриотизм. Да еще, пожалуй, толика высокомерия.

Поместили нас в очень хорошей гостинице «Золотой колос», рядом с выставкой народного хозяйства, мой номер рядом с номером Зейдлица. Вся делегация состояла из пяти человек. Для нас устроили экскурсию по Москве, показывали разные красивые места, немцы были в восторге, грязи, неудобств, хамства не заметили или не хотели замечать, я была рада, потому что, знаете, сама я могу отзываться как угодно, никаких иллюзий насчет будущего нашей страны не питаю. Это одно дело; себе я могу позволить. А вот из чужих уст... тут все во мне встает дыбом.

Но в нашей группе ничего подобного не было. Подчеркнутая уважительность — особенно, когда узнали, что я говорю по-русски. Они и в самом деле, были настроены увидеть только хорошее. То, что Восток есть Восток, а Запад — это Запад, подразумевалось само собой, и то, что мы у себя там, в побежденной стране, живем несравненно лучше, тоже было чем-то само собой разумеющимся; никто и не собирался сравнивать. Весь этот хаос, вся неустроенность, расхлябанность входили в традиционный образ России, без них она не была бы Россией.

Мне даже казалось, особенно в начале моей жизни здесь, что к нам, русским, относятся как к подросткам, невоспитанным, безалаберным, но зато в высшей степени симпатичным. Вы, может быть, успели почувствовать, что в Германии до сих пор, несмотря ни на что, существует довольно странный культ России».

«Об экскурсии я рассказывать не буду, был еще какой-то прием в посольстве, там я вовсе держалась в сторонке, у них была официальная переводчица, молоденькая, только что из

института иностранных языков и, скорей всего, „сотрудница”; впрочем, и Зейдлиц прекрасно знал, с кем он имеет дело. Лучше я вам расскажу, как мы ездили в Новоселки. Собственно, это и было главной целью нашего паломничества; Зейдлиц был председателем ферейна».

«Выехали мы рано утром, и, хотя расстояние не так уж велико, каких-нибудь восемьдесят километров в сторону Малоярославца. Путешествие заняло добрых полдня. По шоссе еще туда-сюда, а свернули на проселок, тут-то все и началось. Тут я, можно сказать, по-настоящему почувствовала себя на родине. Грязь, лужи, ухабы, время было — начало октября, пошли дожди; слава Богу, когда подъехали к деревне, стало разъясняться. Но тут мы окончательно застряли.

Не мне вам рассказывать: как только дорога начинает портиться, значит, вы приближаетесь к очередному населенному пункту. И вот уже видны угластые избы, плетни. Наш маленький автобус сидит намертво в яме. Пришлось вылезти, кое-как дошлепали пешком. Какая-то старуха ведет нас по деревенской улице к колхозному коровнику — или что там было, — а дальше пустошь; вот здесь, говорит, все лежат. Немцы поставили крестов с касками, деревню пожгли, а когда пришли наши, то и крестов не стало».

«Тем временем трактор выволок наш автобус из трясины, но возвращаться было уже поздно, нас устроили в клубе. Сбежалась вся деревня. Люди были очень гостеприимные. Старались как лучше. Ничего плохого не могу сказать. Был устроен ужин, наготовили, нанесли всего, составили вместе несколько столов, сидели, вспоминали войну.

Мой Зейдлиц произнес речь, я переводила. А потом в Москве, в гостинице, у нас был долгий разговор. Я уже упоминала об этом обществе, оно называлось, не помню точно, «Ферейн по уходу за могилами солдат Второй мировой войны», что-то в этом роде. Зейдлиц собирался сделать доклад о поездке в деревню, может быть, сказал он, удастся восстановить кладбище. Я должна была помочь ему, но вместо работы над докладом разговор пошел совсем в другую сторону».

«Вся Россия — немецкое кладбище, сказал он. Я возразила: и русское. Мы сидели в его номере, нам принесли бутерброды, Людвиг вынул из бара бутылку русской водки, две стопки. Я сказала, что я не пью. Он налил себе и мне, сидел, покручивал рюмку двумя пальцами. Потом поднял: prost! И назвал меня, по-немецкому обычаю, по имени. — Между прочим, мои друзья зовут меня Лютц, так что зовите меня тоже так. — Я пригубила, откусила от бутерброда. Он залпом выпил свой стопарь. Ого, сказала я. — Это я в России научился. В России многому можно научиться. Из всего нашего класса, в гимназии, живым вернулся один я. А семья моя погибла в море. — Он снова налил себе, занес бутылку над моей рюмкой, я запротестовала. Он поставил бутылку перед собой. Скушайте что-нибудь, герр Зейдлиц, сказала я. Он сузил глаза. — Я просил называть меня по имени! — Я извинилась. Вы хотели что-то сказать... в море?.. — Да, проговорил он, в Остзее. „Вильгельм Густлофф” — вам это название что-нибудь говорит? — Впервые слышу. — Он опять опустошил свою рюмку, к закуске не притронулся; я исподтишка следила за ним: никаких признаков. Пожалуй, только взгляд его становился все тяжелей».

Лидия продолжала:

«Я сказала: вы устали, Лютц, я, пожалуй, пойду. Но он стал уговаривать меня посидеть с ним еще немного. Мы происходим из Восточной Пруссии, сказал он. Гумбиннен — это городок в самом центре бывшей нашей провинции, сейчас все отошло к Советскому Союзу... Когда-то нам принадлежала вся округа... Мои земляки, я имею в виду прусскую знать, хвастались тем, что пришли с Немецким орденом, о себе я не могу этого сказать, наш род сидел на этой земле еще до христианизации, во мне течет и кровь древних пруссов, и мазурская, и, возможно, литовская кровь. Гумбиннен получил от короны права города только в восемнадцатом веке.

Один из моих предков попался на финансовых махинациях, бывало и такое. Старый Фриц казнил его публично в Кенигсберге.... Потом пришли французы, Великая армия. Заняли город перед тем как двинуться на Москву... — Я прервала

его: Лютц, извините. Может быть, больше не надо пить? Было уже совсем поздно, и в бутылке заметно поубавилось. Между прочим, сказал он (на мои слова — никакого внимания), в Первую мировую войну Гинденбург разбил русскую армию под Гумбинненом... Но я отвлекся. Я хотел вам сказать о моей семье... вам Грете ничего не рассказывала? Когда русские вторглись в Восточную Пруссию, осенью сорок четвертого, началось паническое бегство всего населения. Как вы думаете, почему? — Он сузил глаза. — Нацистская пропаганда, сказала я. Он усмехнулся: если бы только пропаганда!»

Мы сидим друг против друга. Третий час ночи. Как тогда, сказала Лидия.

Не устала ли она?

«Можно вас попросить? Мне не хочется будить миссис Хоуп...»

Когда я вернулся с кофейником, она сидела в прежней позе, завернувшись в плед, глубоко уйдя в кресло, перед оплывшими свечами.

«Не беспокойтесь, я не сплю... Я частенько так сижу по ночам, думаю о своей жизни. Днем наш разговор, может быть, вовсе бы не состоялся... Тебе, сказал Зейдлиц и поправился: вам. Вам, наверное, неприятно будет услышать, но дело в том, что всюду, куда вступала Красная Армия, начинались грабежи, убийства, они насильовали всех женщин подряд, не щадили ни девочек, ни старух.

Все это знали, и все дороги были забиты беженцами, спасались кто как мог и на чем мог. Восточная Пруссия была отрезана от рейха, оставалась единственная надежда сесть на пароход в каком-нибудь порту, который еще находился в немецких руках. Марта с детьми, две бабушки, кто-то из obsługi добрались до Данцига, — город горел, — а оттуда уже недалеко было до Готенхафена. Удалось погрузиться, но пароход потопила в море русская подводная лодка. Тот самый злосчастный Густлофф».

«Случилось это ночью, тридцатого января. Но я не сказал главного. Видите ли, — теперь взгляд его стал совсем хру-

стальным, — видите ли... Эти самые Новоселки. Эта деревня, где мы были сегодня и которую мы, немцы, сожгли за одно только подозрение, что там ночевали партизаны, доказательств не было... Я был там. В октябре сорок первого. Люди, конечно, страдали от ранних морозов, но зато грязь на дорогах, вся эта трясина подмерзла. Наши передовые части подошли вплотную к Москве...»

«Я встала и хотела идти к себе. Он тоже встал. Я не прошу вас остаться, сказал он, вернее, пробормотал, хотя довольно твердо держался на ногах, я не прошу остаться, потому что... вы знаете, вы, Лида, конечно, догадываетесь, как я к вам отношусь, и... и не хочу навязываться, вы должны решить сами... — Что я могла ответить? Я ушла. А на рассвете Лютец постучался ко мне, и мы стали мужем и женой».

«Этого можно было ожидать, — сказала Лидия. — Но я не знаю, действительно ли я была тогда к этому готова. Любила ли я его? Пожалуй, скорее жалела, чем любила. А он ни себя, ни меня не жалел. Жалеть — это дело наше, женское. И очень по-русски. А по его понятиям, по понятиям западного человека, немца и офицера, жалеть человека значит его унижить.

Он был упрямый и сноровистый. Олег, Олешка — тот всегда был неумеха. То слишком торопится, то чуть ли не засыпает на мне. Но только его одного я и любила. Лютец... он сразу почувствовал, что я отдаюсь ему не целиком. Я сейчас говорю не о том, что произошло в Москве. Тем более, что в Москве это больше не повторялось — сейчас объясню, почему. Я говорю о продолжении, уже здесь...»

«Должна вам сказать — я женщина не слишком темпераментная. Он, конечно, как всякий мужчина, хотел во что бы то ни стало меня разжечь. Чем может привлечь такой человек? Богатством, конечно, в первую очередь. Обещанием сладкой жизни. Но я, ей-Богу, не помню, чтобы я так уж зарилась на его дом, капитал. И он это тоже чувствовал. И действовал иначе.

И был опытен — чего я не могу сказать о себе. Для меня это было не так важно. Для меня важна любовь. Воздух любви —

так, чтобы я ее чувствовала всюду, во всем. Он был влюблен, это правда. Добился ли он своего? Пожалуй, да. С ним я впервые узнала такие глубины, и в прямом, и в переносном смысле, где не только нет противоречия между чувством и чувственностью, но где вообще нет границы между телом и душой: все это — одно. Он умел этого добиваться в постели. Это правда».

«Нам предстояло провести в Москве еще сколько-то дней, но тут пришла телеграмма. Пришлось покинуть делегацию, срочно вылететь в Мюнхен. Хоуп ждал с машиной в аэропорту. Грете умерла во сне. Похоронили ее возле Байришцелль, недалеко отсюда, там у них фамильная усыпальница».

«Граф сделал мне формальное предложение; когда окончился положенный срок траура, я вышла за него замуж. Вы скажете — счастливый конец. Не знаю... Я уже говорила вам, что, если я любила его, то все же не совсем такой любовью, какой любят мужчину. Конечно, мы были близки, все больше узнавали друг друга, каждая ночь готовила новые открытия. Он говорил мне, что помолодел на двадцать лет. А я... мне казалось — мой запас взросления все еще не был исчерпан. Может быть, только с Людвигом я сделалась в полном смысле женщиной».

«Он любил смотреть на меня. Утром, когда я выходила из ванной, он говорил, нет, пожалуйста, без халата. Я стеснялась. Он говорил: у тебя прекрасно вылепленные бедра. У тебя полные, спелые груди. — Слишком большие. — Нет, они великолепны. — И тут, знаете, совершенно некстати мне вспомнились слова Олега: продавать красоту... Может, так оно и получилось? Не знаю. Мне бы хотелось думать, что это не так или, по крайней мере, не совсем так. Еще он требовал, чтобы я каждое утро купалась в озере вместе с ним. А я, как все бабы, страшусь холодной воды. — Нет, ты должна. — Мне не нравился этот тон: тебе бы следовало... ты должна... а вот этого делать не надо... Он считал, что меня надо воспитывать».

Была ли она с ним по-настоящему счастлива?

«Так, как с Олегом, — нет. Такая любовь не повторяется. Но мне с Лютцем было хорошо. И, я думаю, Грете это поняла».

Но ведь при ней, при ее жизни они не были близки?

«Разумеется, не были. Даже намек на то, что между нами может что-то произойти, не было — не говоря уже о браке. Грете узнала об этом после, *там*».

Где — там?

«Верьте или не верьте. Я вам вот что расскажу. Я иногда, после того, как Лютц засыпал, вставала. Даже закусывала ночью; после любви вдруг разыгрывался аппетит. И мне часто казалось, что кто-то ходит по дому, — то дверь скрипнет, то будто кто-то вздохнул... Однажды я услышала шепот за дверью, потом очень тихо постучались. Я подумала, что это мое воображение, или что это жена Хоупа ходит зачем-то. На всякий случай спросила: кто там? Никакого ответа. Хотела встать — и тут она вошла».

Кто?

«Она, кто же еще. Замахала ладошкой — сиди, сиди. Она была в длинной рубашке, куталась в какую-то шаль. И все поджимала босые ноги. Мы сидели вот так, как сидим с вами, напротив друг друга. Я хотела принести ей ночные туфли, отороченные мехом, она их очень любила, — она снова замахала руками. Увидела на столе остатки еды и говорит: ты беременна? Я сделала удивленное лицо, спрашиваю — откуда?»

Она усмехнулась: ты что думаешь, я ничего не знаю? Ты была мне последнее время подругой, что же ты мне ничего не говорила. Впрочем, я и сама догадывалась, что к этому идет. Не беспокойся — я довольна. По крайней мере, *она* не женила его на себе. — Я спросила, кого она имеет в виду, хотя, конечно, поняла. Грете ответила: не хочу о ней говорить. — Но я-то видела, что мысль об этой неизвестной женщине и после смерти мучает ее».

«Помолчали, потом она спросила: ну, и как там у вас? Он тобой доволен? — Я пожала плечами. — Доволен, наверное, ты молодая, красивая; горячая, наверное, а? Я тоже была горячая... — Я сижу, слушаю. — Ты думаешь, я ревную? Нет, дорогая моя. Он все равно мой. — Тут я не выдержала и сказала, как это так, мой! И хотела добавить, что у меня есть неоспори-

мое преимущество, я живая, а она... — но она прервала меня. *Он мой!* — сказала она и вся нахохлилась, глаза сузились, губы дрожали от холода. — Мой, и больше ничей! Запомни это».

«Нам пора заканчивать, — сказала Лидия Зейдлиц, — но в романе, который вы, я надеюсь, напишете, — она улыбнулась, — не хватает развязки, не правда ли? Что ж... развязка не заставила себя ждать».

По ее словам, Зейдлиц возобновил привычный образ жизни, рано вставал, окунался в озеро, завтракал, чаще всего один. Но в это утро кофе и булочки остались нетронутыми, газета лежала неразвернутой. Мистер Хоук постучался к графине.

На берегу была устроена маленькая купальня: закуток для переодевания, дощатая площадка со ступеньками в воду. «Она и сейчас там стоит, — сказала Лидия, — но я никогда не купаюсь... Пришли; халат и полотенце висят на крючках. Домашние туфли Зейдлица стоят перед лесенкой. На озере ни малейшей ряби, вода сверкает так, что больно смотреть. А через неделю я почувствовала, что беременна».

Геннадий Николаев

Пыль

Повесть

*Жил старик со своею старухой
У самого синего моря;
Они жили в ветхой землянке
Ровно тридцать лет и три года.
Старик ловил неводом рыбу,
Старуха пряла свою пряжу.*

А. С. Пушкин.

«Сказка о рыбаке и рыбке».

Нет, все было не совсем так. Вначале жили они действительно у самого синего моря, которое называлось почему-то Черным. И жили они не в ветхой землянке и не вместе, а отдельно, в добротных, сложенных из камней домах своих родителей на территории Немецкой колонии, появившейся тут в конце восемнадцатого века по Высочайшему Дозволению императрицы Екатерины Второй, урожденной Софьи Фредерики Августы Анхальт-Цербстской.

И никакими стариками в ту пору не были: Маркус Келлерманн бегал в коротких штанишках, а Марта Фогель — в короткой юбочке. Даже их родители, крепкие единоличники, до раскулачивания жившие в этой же колонии, стариками еще не были, но рыбу ловили, в колхоз вступать отказались, за что и поплатились: в одно ненастное утро приехали городские люди в полувоенной форме и увезли их на телегах в места не столь отдаленные. Это и называлось «раскулачи-

ванием», но это, как говорится, особая история — недолгая, но тяжелая.

От родителей остались два дома, общий надел пахотной земли, фруктовый сад — с десятков яблонь, семь вишен, полоска виноградника на солнечном склоне да полсотни овец. Все это добро, кроме дома Маркуса, было обобществлено при создании колхоза. Именно тогда они и поженились. Рыбной ловлей не занимались, было не до рыбы. Вырвавшись из-под родительской опеки, которую свободолюбивая Марта называла рабством («Мы — не рабы, рабы — не мы»), включились в новую, колхозную жизнь, с большим энтузиазмом работали на общее благо: он шофером, позднее, окончив курсы, бухгалтером-учетчиком, она, горячая последовательница славного почина Паши Ангелиной, создавшей первую в мире тракторную бригаду из женщин, — на тракторе. Пахала, пела: «А ну-ка, песню нам пропой, веселый ветер!...».

И не через тридцать лет и три года, а через полсотню с гаком, уже стариками, очутились они очень далеко от синего моря, которое называлось почему-то Черным, в западной части страны, которая называется Германия, точнее, ФРГ. То есть из второй родины вернулись в первую.

А та жизнь размером в тридцать лет и три года прошла в местности равнинной и весьма отдаленной, которая называлась Казахстан, и вспоминать о ней не хотелось бы, но придется — чуть позднее...

Фамилия у Старика была Келлерманн, а звали его Маркусом, имя, прямо скажем, странноватое для немца. Но так уж получилось. Году, примерно, в одна тысяча девятьсот восемнадцатом, а, может, в девятнадцатом, Хельга и Франц Келлерманны, потомки самых первых немцев, поселившихся на этих землях по Указу Екатерины Второй, возвращались из Симферополя, где жил знакомый татарин, скупщик шерсти и тутового шелкопряда.

Скупщик вообще был хороший человек, но особенно хорош был тем, что в те смутные времена платил не старыми ку-

ПЫЛЬ

пюрами или керенками, а царскими серебряными рублями и при этом не обманывал.

Ехали на телеге, впереди лошади бежал пес Ягер, по-русски Охотник, рыскал из стороны в сторону, высматривал дичь.

На полпути настигла пылевая буря. Ветер, мгла — дышать нечем. Укрылись пустыми мешками из-под шерсти. А лошадь идет. И вдруг залаял пес. Лошадь встала. Выглянули из-под мешков — Ягер пытается что-то раскопать в пылевом холмике на обочине и странно лает, с подвыванием. Осмотрелись — все поле в холмиках, как-будто овцы разбежались по степи, легли и их присыпало пылью. Поле серое, а холмики почему-то черные. Странно.

И пес лает, заливается, и лошадь храпит — тоже странно. Бурю пронесло, стало легче. Пошли было по полю и замерли — все поле в трупях, человеческих! Пылью присыпаны, пыль черная от запекшейся крови. Потому и холмики черные. Вспомнили: татарин предостерегал, дескать, будьте осторожны, через Симферополь недавно прошли отступающие части белых и с ними толпа гражданских, и все — к морю, на пароходы, за границу. А следом конница — шашки наголо — то ли красные, то ли махновцы, кто их разберет.

Да, прав был их добрый татарин: холмики — это люди, порубленные шашками.

Пошли к телеге, а пес лает и землю роет в том месте, где холмик. Подошли, смотрят — из-под пыли ботиночки торчат, детские! Раскопали — мальчишка, годика два-три, черненький, как цыганенок, весь в пыли, думали, не живой. Потормашили — живой! Встал на ножки, закашлялся от пыли, ткнулся в колени Хельги, вцепился обеими ручонками в подол.

Перенесли в телегу, умыли, напоили, привезли домой. Несколько дней молчал, не мог вспомнить, кто он и откуда. Потом, постепенно, вспомнил — зовут Мариком, мать и отца не помнит, где жил, тоже не знает. По-немецки не понимает, только по-русски. Чуть чего, плачет, боится, как бы не прогнали, не отвезли бы на то страшное поле.

Но никто не собирался его обижать, наоборот, жалели, ласкали, берегли детскую душу. Он привязался к ним, они — к нему. Постепенно научился и по-немецки.

Так появился у Келлерманнов сын по имени Маркус. И стал их третьим сыном. А первые два, родные, — Курт и Руди — ушли на войну еще в четырнадцатом году, воевали на стороне России и оба погибли.

Из Императорской «Канцелярии опекунства иностранных» пришли траурные бумаги с гербовыми печатями — известия о гибели сыновей и Высочайшее Постановление о дополнительных льготах родителям: пожизненное освобождение от оброков, право свободного выбора места жительства в пределах Российской Империи, безвозмездное пользование семейным фондом общины и прочие милости.

А Маркус, так назвали его при крещении и оформлении в местной кирхе, вырос, стал немцем, нравом — добрый, шустрый, сообразительный, по-немецки аккуратный и послушный. Порой валял дурака, лез в драку, но это — как все мальчишки. Был он ярким, черные глаза светились сообразительностью, сам смуглый, стройный, поджарый. Это заметила и оценила Марта, смазливая дочка соседей Фогелей. И еще — он был открытая душа, никаких секретов, никаких каверз никому не строил.

Однако жизнь была его за каждое искреннее и теплое движение души, за доверчивость, за отзывчивость и в конце концов сделала бы его занудой, если бы не Марта. Веселый выдумщик и фантазер Маркус, конечно, изменился с годами, но занудой не стал и никогда не был злым. Вспыльчивым — да, но быстро отходил. Иной раз мог плюнуть с досады и уйти в подвал, то есть в Keller.

Там, в их отсеке, похожем на клетку из деревянных реек, пять метров на два, был у него уголок для работы — столик со «шрота», значит, со свалки выброшенных вещей, верстачок, инструменты, приборы, весы рычажные с разновесами, микроскоп, радиоприемник с растянутыми волнами — и там отдыхал душой и телом после борьбы с пылью и дискуссий со Старухой на политические темы. К тому же, получал све-

жую информацию о мире и «стране прежнего пребывания», которая, как правило, не грела, а обдавала холодом. Зато по соседству с ним находилась «клетка» Сашки Мозолина, и они частенько попивали пивко, до которого Сашка был большой охотник да и живот имел литров на пять, как минимум.

Старик же всегда был умерен во всем — в еде, в питье, в удовольствиях и прочих жизненных делах. В политике — тоже. Скорее, консерватор. Но зато Старуха — полный антипод, причем качающийся из одной крайности в другую. То она за Зюганова и против Ельцина, то — наоборот.

Особенно его раздражал Зюганов. Сколько можно талдычить про одно и то же! Наелись они этого социализма — и «интернационального», и «развитого», и «с человеческим лицом» — и в Крыму, когда вдруг, вроде бы ни с того ни с сего, раскулачили родителей, его и Марты, и по дороге в Казахстан да и в самом Казахстане. По самое горлышко! И как Марта не может этого понять! Крепко сидит в ней закваска первых пятилеток.

Когда Старику надоедает возня с пылесосом, она обычно шутит: «Труд в нашей семье есть дело чести, доблести и героизма!». Или вечерами: ему нравится смотреть западные фильмы по телевизору, в том числе и эротические, а Старуха плюется: «Опять ты морально разлагаешься!».

Сама же обожает старые советские комедии — «Цирк», «Веселые ребята», «Трактористы», «Карнавальная ночь» — целый чемодан видеокассет вывезли из России. Веселье в гробу, как говорит он. Но это обычные, мелкие семейные дела, кончавшиеся уходом Старика в келлер.

Рассержанная Старуха кричит ему в спину: «Я по отцу Vogel, птица, а ты — Келлерманн, вот и сиди там, в своем келлере!». А он огрызается: «Ты — Фогель, вот и сиди на своей ветке и не чирикай». Они вечно подтрунивали друг над другом.

Марта была веселая, быстрая, горячая, как огонь. Всякая работа у нее спорилась, все ей было интересно, пела, танцевала, кокетничала, дразнила мальчишек и тотчас забывала. Но вот соседский Маркус, чернявенький такой и насмешливый...

Конечно, они были знакомы с раннего детства, вместе играли в прятки, в считалки. Вместе ходили собирать вино-

град, шелковичные семена и червяковые яички с тутовых деревьев и кустарников. И, конечно, вместе, всей гурьбой с другими ребятами спускались по крутым тропкам к морю и купались, плавали, загорали, бесились от ощущения свободы, морского простора, молодости и здоровья.

Но, наверное, у многих в жизни бывает момент, который называется «вдруг». Однажды, таская корзины со спелым виноградом по горной тропе к поселку, они остановились перевести дух и вдруг увидели друг друга.

Этот долгий-долгий взгляд, проникающий до самого сердца, соединил их на веки-вечные. И потянулись томительные часы и дни, если не удавалось заглянуть друг другу в глаза, пойти к морю, постоять на берегу, ощутить лицом теплое дыхание.

А потом их понесло, словно сорвались с обрыва, по краю которого ходили. Никто им не был нужен: ни дружки, ни подружки, даже на родителей их не хватало, они видели и слышали только друг друга. Родители, конечно, пытались удержать, вразумить, предостеречь, особенно противилась их дружбе строгая и властная мать Марты Гертруда. Отец Фогель и брат Марты Вальгер не вмешивались, усмехались, глядя на кипение молодых, дескать, перебесятся, и все пройдет. Родители Маркуса думали примерно так же.

Но вот маман, как называла ее Марта, то запирала дочь на замок, то прятала ее самые нарядные платица, то заставляла без конца работать дома. Маркус каждую свободную минутку торчал возле их окон, выманивал Марту.

И однажды, когда родители и брат ушли в кирху на вечернюю молитву, она не выдержала, выбила топором дверь, и они с Маркусом помчались к морю. И пробыли на берегу всю ночь. Лунная дорожка тянулась к ним, казалось, через все море. Эта сияющая дорожка стала для них путем к счастью, но и началом полного разрыва с родителями.

А любовь их крепла, они готовы были бежать на край света, лишь бы быть вместе. Через много-много лет они будут горько сожалеть, что так резко порвали с родителями. Но молодость и любовь могут быть жестокими, а жизнь идет только в одном направлении...

Их дочь родилась в Крыму, на берегу Черного моря. Потому что ее мама, Марта Келлерманн, будучи уже на сносях, решила искупнуться. И как Маркус ни протестовал, она с визгом бухнулась в накатную волну и поплыла — такой у нее был характер: своевольная и упрямая, вечная передовичка, последовательница Паши Ангелиной.

И прямо в воде, правда, недалеко от берега, у нее начались родовые схватки. Девочка появилась на свет в прибойной части пляжа, именно в том месте, где они, свободные и беззаботные, впервые увидели, как лунная дорожка через все море, упала на обнаженные ноги Марты; и в первые же минуты была омыта морской водой.

Маркус, как и подобает крестьянину, был ветеринаром, лечил овец, коров, кошек, собак, принимал новорожденных ягнят и телят, не растерялся, приподнял оравшую дочку от воды, чтобы не захлебнулась, перерезал перочинным ножиком пуповину, перевязал платком, новорожденную приложил к материнской груди и побежал за помощью.

В роддоме сделали все, что надо, и место рождения записали — «Черное море». Называть ее Анной стал Маркус, в шутку, конечно, от «Анна унд Марта баден».

Интересная коллизия с «Келлерманном». По российскому паспорту Старик был и вправду Келлерманном, в переводе «подвальный человек», но в процессе оформления в Германии после приезда, так называемой «натурализации», фрау, оформлявшая документы, то ли не очень внимательная, а, может быть, усталая или раздраженная его подозрительным носом и слишком картавым немецким, убавила в конце его фамилии одно «п», таким образом превратив его из натурального немца по фамилии Kellermann и по имени Markus в некоего Келлермана Маркуса (уж не Марка ли?! Да, конечно, Марка, только не того, о каком вы подумали, а Марка Аврелия, римского императора! А то, что когда-то назвался Марином, так это из семейной легенды — забыть и не вспоминать!).

Так и пошло: по всем документам Kellerman, а на самом деле Kellermann. Сколько «п» на самом-самом деле, никто не скажет. Подумаешь, плюс-минус одно «п», казалось бы, сущая

чепуха, ан нет, разница огромная — меняется национальный признак! Но им повезло — никто ни разу не задавал вопросов с подковыркой: «А где у вас еще одно «п», если вы немец?».

Первый раз они увидели эту пыль, когда въехали в новую, только что отремонтированную фирмой-сдатчицей квартиру. Пыль как пыль, нормальная, после ремонтных работ, перетаскивания вещей, мелкой возни с коробками, в которых перевозили книги и прочую хозяйственную дребедень.

Старуха, как бывшая трактористка-ударница, собственно-ручно опробовала новую технику, пылесос «Vampir», купленный на деньги, выделенные социальным ведомством и осталась довольна — пыли как не бывало.

Старик, нацепив очки и вооружившись влажной тряпкой, протер тафтики и углы. Результат зачистки предъявил Старухе как вещественное доказательство ее некачественной работы. Старуха, заслуженная ударница в юности, разъярилась не на шутку, отшвырнула хобот пылесоса и заявила, что больше к нему не притронется.

Именно тогда Старик впервые ушел в келлер якобы проверить, надежны ли повесил замочек. Там-то и познакомился поближе с Сашкой Мозолиным, выпив с ним по паре бутылок самого дешевого, но очень хорошего пива «Hansa». Мозолин все время что-то химичит в квартире. То в шесть утра, то в восемь начинается: стуки-бряки, скрежет металла, завывание дрели по бетону, шум воды.

Что он мастерит там, Бог его знает. Похоже, делает потайной отвод горячей воды из системы отопления для использования в умывальнике и в ванне, чтобы не включать электрический нагрев. Идея, конечно, гениальная, но как он будет выкручиваться, когда «изобретение» обнаружат, и Фирма через суд припаяет ему тыщ пять штрафа.

О своих догадках Маркус, естественно, никому не говорил, иначе тут же написали бы на Сашку донос. Старик, как человек деликатный, лишних вопросов не задавал. Правда, Сашка сам поинтересовался, не мешает ли соседу шум. Старик пожал плечами, дескать, о чем речь, никакого шума, все нормально.

ПЫЛЬ

И именно тогда Сашка в доверительном разговоре признался, что пиво употребляет по указанию врача для профилактики, как он выразился, острой сексуальной недостаточности, которой страдает еще с казахстанских времен.

Жена, рано увядшая, растолстевшая Эмма, всю жизнь болеет, врачи сказали диабет, а он, как верный муж, на сторону не ходит, страдает. Старик посочувствовал ему и, отбросив мотив болезни его жены, предложил другое объяснение недуга — Казахстан в основном равнинная страна, нет горных вершин, к которым надо было бы тянуться. Потому-то и болеете оба.

Сашка юмор понял, и между ними установились приятельские отношения. Хотя у Старика закралось сомнение в искренности Сашки — по внешнему виду Сашка был как шкаф, что поставь что положи, и морда — по циркулю, волосы кучерявые, как у барашка, только глаза светлые — то голубые, то серые, в зависимости от количества принятого пива.

Парней такой комплекции Старик видел в молодости, когда проходил медосмотр в военкомате — в ту пору российских немцев еще призывали в Красную Армию, все они выделялись именно своими могучими природными инструментами, от вида которых приятно и мечтательно смущались молоденькие врачихи — члены медкомиссии. Но это — пройденный этап, сейчас главное — борьба с пылью!

В этой самоотверженной борьбе прошли годы. И что же? Пыли не убавлялось, наоборот, она словно бы размножалась все больше и больше. Причем становилась качественно иной: если раньше это были легкие, даже в чем-то симпатичные, желтовато-белые пушинки, нежные комочки, катавшие по полу при легчайшем дуновении воздуха, то теперь пыль превратилась в черные спутанные комки, тяжелые и жутковатые. И высосать их старым, пылесосным методом не удавалось — приходилось браться за примитивный веник и совок, то есть возвращаться в социализм, капитализм, первобытно-общинный строй, а, может быть, и еще глубже — в пещеру.

В пещерах, наверное, тоже подметали пол, пылесосов же тогда, наверняка, еще не было...

Старуха воспринимала борьбу с пылью как должное. Подумаешь, пыль, это ли беда! Включи пылесос, махни влажной тряпкой и — нет ее, пыли. Но Старик, как человек дошлый, думал по-иному. Ну, скажем, весной полно пыли — понятно: цветут деревья, балкон открыт, транспорт шумит, этаж — первый немецкий, по-русски — второй, вся пыль куда? К ним! То же осенью. Листва опадает, ветер носит, опять же транспорт — понятно. Но вот зимой — откуда она берется? Опять загадка природы. И Старик взялся за проблему пыли всерьез.

Для начала он собрал в полиэтиленовый пакетик небольшой образец пыли и тщательно исследовал его под микроскопом в своем келлере. Результат его озадачил: среди, так сказать, нормальной пыли имелись какие-то странные включения, похожие на нечто живое.

Нет, это не были какие-нибудь гадкие гусеницы или червяки. Это было *нечто*. Старик не мог связно сформулировать ответ — *нечто* и все.

И вот, однажды, а точнее, как раз в день Победы, девятого Мая, спустился он в келлер взглянуть на новую порцию пыли. А там, у соседа Сашки Мозоллера, который Мозолин, дым коромыслом. Сашка и его дружок Вилли — в обиходе Вилька Усатый, тоже казахстанский якобы немец, сидят, обнявшись, перед бутылкой и стаканчиками и поют на два голоса: «Вот когда прогоним Фрица, будет время, будем бриться, стричься, бриться, наряжаться, с милкой целоваться...».

Увидев Старика, они затащили его к себе в клетку, налили стакан водки, себе, естественно, тоже, и Сашка произнес тост: «За нашу победу!», явно подражая герою известного фильма «Подвиг разведчика» в том эпизоде, где актер Павел Кадочников, игравший советского разведчика, оказывается за общим столом с немецкими офицерами.

Когда генерал провозглашает тост «За нашу победу!», Кадочников делает паузу, как бы отстраняясь от тоста генерала, и повторяет весьма многозначительно: «За *нашу* победу!», явно имея в виду победу над фашистами, с которыми он сидит за общим столом.

ПЫЛЬ

Но, возможно, здесь, в келлере, имелся и другой подтекст: за *нашу* победу потому, что им удалось выбраться из Казахстана и очутиться здесь, в свободной и сытой Германии.

Тогда Старик показал им пыль под микроскопом. И Сашка, и Вилька Усатый долго и, возможно, с излишним любопытством разглядывали ее.

— Я тебе так скажу, — начал Вилька Усатый. — Вот когда я в Павлодаре на ликеро-водочном работал грузчиком-лаборантом, так мы каждую свежую партию продукции проверяли не только под микроскопом, но брали под язык и держали, пока не впитается все до капли. Всегда что-нибудь оставалось, ну, на языке, вообще во рту, это сплевывали на стеклышко.

Короче, пробы делали до тех пор, пока продукция не становилась без булды. А то, что оставалось на стеклышках, — под микроскоп! Там точно такие же крючочки, хвостики, короче, мура всякая.

Давали на пробу нашему коту. Он слизывал и натурально косел. Вот хохма-то была! Кот, нет, не Васька, как же его звали-то, грязный такой, лохматый, как бомж, о! Бомжом и звали, только ласково — Бомжик! Ой, чего только Бомжик ни вытворял! И катался, и хрюкал, и лаял, и на задних лапах танцевал, потом заваливался спать. Мы по часам отмечали: если за десять-пятнадцать минут кончит куражиться и отползет к батарее, значит, продукция что надо. Ну, а другой мы и не делали, потому как соцобязательства...

— Ребята, кончайте! Лучше послушайте, что я вам скажу. Про пыль. По-немецки, значит, Staub. Тут, ребята, большая загадка. По-русски пыль, то есть что-то мелкое, лежащее на полу, на вещах, — да? По-немецки штауб, пыль, прах, но, смотрите, сколько других значений от этого «Sta...» — Staat, Stadt, Stahl, Stange, то есть государство, город, сталь, шест. И прочие слова такого же ряда. Как это понимать? Если корень один и тот же, то, все прочие слова, даже страшно сказать, тоже из пыли? Так? И государство, и город, и сталь, и шест — все это пыль? И Сталин — пыль?!

Приятели задумались и даже немного протрезвели.

— Товарищ! Серый волк ему товарищ! — опередив Вильку, выпалил Сашка. — Родной брат Гитлеру! И ты не возникай...

— Стоп, стоп, стоп! — Перебил Вилька. — Не знаю про товарища Сталина, а с Гитлером я имел дело, когда первый раз лежал в морге. Да! Мы выполняли спецзадание, доставляли живого Гитлера в Кремль, везли в мешке, а мешок в стальной клетке, на беседу с товарищем Сталиным. Потом там медведь был...

— Да ври ты больше! — возмутился Сашка. — Гитлер очурился еще в бункере, он и его баба, кажется, Ева. И собака с ними. Где ты мог его видеть? В морге? Когда первый раз там лежал, — расхохотался Сашка. — Давай, жми до горы и все лесом, там как раз и твой медведь живет.

— Живой он остался, своими глазами видел! Вот те крест! — перекрестился по-православному Вилька.

— А чего ты по-православному крестишься? — прицепился Сашка. — Ты что, в самом деле православный?

— Родители перешли в православную веру.

— Ребята, кончайте, Вилька, рассказывай дальше, — вмешался Старик.

— В сорок пятом, как сейчас помню, пятнадцатого мая, мы с группой наших немцев выполняли эту спецоперацию. Но это — военная тайна, я подписку давал о неразглашении, сроком на тридцать лет. А потом продлили еще на тридцать...

— Да кто же допустил бы немцев до такого дела?! Ты сообщаем, что несешь? Пятнадцатого мая сорок пятого! Бред какой-то! — возмутился Сашка.

— Мы комсомольцами были. Жили в первой немецкой коммуне имени Клары Цеткин под Саратовым, на Волге. Взвод — одиннадцать молодых немецких комсомольцев. И, между прочим, нам на политчase все про Гитлера рассказали. У него мать в Ваймере жила, по улице, где жила, ходили трамваи, беспокоили мамашу, спать мешали. Гитлер мамашу обожал, и трамвайные пути за одну ночь убрали.

И еще Гитлер велел построить в Ваймере большую клетку — для Сталина, так верил в свою победу. Мечтал обосноваться после войны возле мамаша и ходить к Сталину, который в клетке, беседовать о социализме.

Клетку начали строить, но бросили, потому как Сталинград, Курская дуга, короче. Но Сталин знал, что Гитлер строил для него клетку, вот и придумал взять фюрера живьем, привезти в Кремль и сунуть его в подвал, в клетку, чтоб беседовать с ним о социализме.

Вот мы и везли Гитлера в Москву. Сдали куда следует, всем нам по медали за боевые заслуги и сталинский обед.

А медведь, как рассказывали чекисты, действительно был. Сам Сталин придумал. Рядом с клеткой, где Гитлер сидел, поставили другую клетку — с медведем. И так близко, чтобы медведь через прутья дотягивался до фюрера. Потом, говорят, Гитлер не выдержал, сунулся головой к медведю, и тот его загрыз. Охранника, который заснул, расстреляли...

— Все! Надоел ты, Вилька со своим Сталиным...

— Если хочешь знать, один немецкий физик делал первую советскую атомную бомбу и после испытания в Казахстане в сорок девятом получил звание Героя Соцтруда! Потом в ГДР уехал, был главным ученым, о нем передача была по телику...

Наступила тишина как после траурной речи. Молчание нарушил Старик:

— Вы, ребята, конечно, тоже повидали на своем веку всякого, но все же то, чего мне и моей семье выпало, вам, слава Богу, не досталось. Так вот, про пыль.

Ну, значит, так. Сорок первый, «поздняя осень, грачи улетели». У нас здесь грачи, дрозды не улетают, зимуют возле нас. А там, в Крыму, улетели. Да, так вот, как только грачи улетели, понаехало солдат с красными петличками, значит НКВД, на грузовиках...

— А это было на рассвете, солнце еще там, за кавказскими горами, море ровнехонькое, блестит как черный мрамор. Вот откуда оно Черное. Да, так вот, понаехало этих военных — всю колонию подняли на дыбы. И давай нас загонять в грузовики, под брезент. Народ орет: почему? куда? Им говорят: приказ! Чемодан теплых вещей и — в путь! Подвезли к правлению колхоза, выдали по мешку отрубей, сплс авки о трудоднях и еще какие-то бумажки, вроде расписок, что колхоз принял

наши дома и скотину в целости и сохранности. И снова — по машинам! Вперед!

А куда вперед, когда нам назад надо, домой, там же коровки, овцы, куры, кошки, собаки. Не волнуйтесь, говорят, вся живность теперь под приглядом райкома. Паспорта забрали, справки дали.

Короче, привезли на станцию — по вагонам! Закрыли как скот и — ту-ту! Поехали. Сначала сказали, едем в Керчь, до переправы. Какая там Керчь! Одни руины. Значит, пятимся назад и — на север, через Джанкой на Мелитополь.

Едем ночами, днем бомбежки, то и дело самолеты над головами, пробки на станциях, все кругом в дыму, пожары. Какие-то люди колотятся в вагоны, умоляют взять. А как брать, когда мы вроде арестантов. Конвоиры же при нас, чуть чего — стреляют. Война! Мы еще до отправки узнали, а уж по дороге — не дай Бог пережить еще раз, что довелось тогда...

Старик опять смущенно покряхтел, его так и подмывало рассказать все, как было, но он сдержался. — Всего не расскажешь. Короче, выехали. Направление — восток. Бомбежек нет, но за спиной день и ночь погромы хивало, будто за нами гнались грозы. Холода начались. А как жить-то в товарном вагоне? Нары, сено, на окнах решетки. Буржуйка есть, а ни дров, ни угля. Хотя бы бидон с водой дали! Правда, на остановках, в основном ночью, отпирали двери, — выходи по нужде! И — к водокачке, пили из струи и набирали кто во что мог.

А в нашем вагоне начальство ехало, разные орденосцы, партийные. Крик подняли, дескать, какое право имеете, хотя мы и немцы, но тоже люди, и тому подобное. Ну, их сняли...

А мы, простой народ, помалкивали в тряпочку, лишь бы хуже не было, как при голодоморе после раскулачивания. Да и кому жаловаться? Конвою?! Да те в гробу бы всех нас видели! А мы ехали втроем — жена Марта, дочка Ангелина, мы ее Анной звали, и я. И еще Ники, любимая собачка дочери, тайком взяли, дочка в платок завернула, вроде куклы.

Родители, мои и Марты, честные труженики и добрые люди, были жестоко раскулачены, то есть ограблены и вывезены на двух телегах вместе с такими же «кулаками», у которых,

как и у наших родителей, было по три коровы, по сотне овец, с десяток индюшек и по паре добрых немецких лошадок. На рассвете увезли и — с концами.

На все письма-запросы пи ответа, ни привета. Даже самому товарищу Калинину писали — молчок. Но все же родители! Мы хотели с ними поехать — нет, раз вам нравится жить в стаде, вступайте в колхоз. Но имейте в виду, в этой стране быть богатым опасно, все, что заработаете, отберут. А мы с Мартой и не мечтали ни о каком богатстве, мечтали о всеобщем человеческом счастье. Короче, обнялись. Старики прослезилась: «Мы вам напишем...». И только в Казахстане, в пятидесят шестом году, когда отменили комендатуру, дошла о них весточка, официальная справка: умерли в лагере для спецпереселенцев под Норильском, причина смерти не указывалась, только даты — родителей, моих и Марты, и ее брата Вальтера. По датам видно, что умерли в один день. Значит, расстреляли. Вот так! А мы остались бороться за всеобщее счастье...

Короче, едем, надеяться не на кого. Раздобыли по дороге и дров, и угля, и бидоны, и вода появилась. Щели в стенах заткнули соломой, чтоб не дуло. А уже холода начались, дети попростывали, наша Анна, Амамка, так мы ее с детства прозвали, потому что все время повторяла «Ам-ам хочу», вообще вся пылала, температура, кашель. Ники грелась возле нее.

Да и у других детишек не лучше. Кормились отрубями — распаривали, разжевывали, этой жвачкой и кормили — и дочку, и собачку, и сами питались. Отруби и вода. Ну, еще соль была, сухофрукты, кофе в зернах жевали. На каждой остановке двух-трех выносили из эшелона вперед ногами. Так и ехали почти месяц.

А однажды, ночью, все спят, вдруг остановка. Солдаты с фонарями бегут вдоль вагонов, стучат прикладами в двери — «Выходи! С вещами! Быстро!».

Вползли из вагонов, как вши сонные, стоим, ждем. Голая степь, ни жилья никакого, ни кустика, ни огонька. Думаем, все, каюк, сейчас как начнут резать из автоматов... Начальник, усатый, вроде тебя, Вилька, обходит кучки вдоль вагонов, прове-

рвет по списку, все ли вышли. Солдаты по вагонам шмонают, не спрятался ли кто-нибудь.

Офицер обошел всех, показывает в темень — «Вот туда шпарьте. Километров десять — сельский стан, землянки, колодец. Все! Пошли!». Солдаты с фонарями встали возле дверей, чтоб никто не юркнул обратно. Одна деваха, уже не помню имени, кинулась к солдату и за фонарь — «Дай нам!». А он хохочет: «Дам, если ты мне дашь...». — «Дам! Пошли в вагон!».

Деваха уже полезла по скобам, но тут моя Марта кинулась к ней, схватила за подол — «Спятила?! Совести нет!». Деваха тоже завелась — «Отстань!» — и лезет дальше. За ней и солдат полез. Марта вырвала у него фонарь, шваркнула смаху его по спине. Хорошо, скользом, керосин не пролился и стекло цело. Так с этим фонарем и двинулись.

А та деваха, Бог ей судья, осталась в вагоне и солдат с ней. Молодые были. Состав тронулся, они уехали. Марта с фонарем пошла первая, за ней я с Анной и собачкой, за нами потянулись остальные.

Как жили попервости, не вам рассказывать. По землянкам разбрелись. Крыс повыгоняли. На окнах решетки. Дверей нет, но колодец есть.

Деваху ту привез утром какой-то казах на телеге. Чуть живая, черная, немевшая. Видать, ее там вся охрана попробовала. Ну, это обычное дело: что охраняем, то и имеем.

На другое утро смотрим в оконце — сплошная мгла, ну, просто муть, и дышать нечем. Вот так мы и узнали, что такое тамошние пылевые бури. Потом три дня отхаркивали эту пыль...

Старик закашлялся, схватился за грудь — приступ удушья. Этакое не раз с ним бывало. Лучше б не вспоминать! Но как забыть! Это же его жизни! О чем еще мог он рассказать? «Зачем?» — спросите. А затем...

Конечно, бывали случаи, высылали профессоров, академиков, прочих образованных, по два языка имели — как минимум, а то еще и английский, и французский, — тут не пропадешь, любая контора вцепится, вплоть до КГБ! А эти — мелкая сошка, кому они нужны, пыль людская! Жили бы уж там,

ПЫЛЬ

в Казахстане, на пригретых местах, а теперь что...Жалко их! Хотя и немцы, но тоже люди...

Он лежал с закрытыми глазами, а внутри, в голове, проходили, как бы сами собой, картинки воспоминаний...

«Старик» теперь, а тогда — молодой Маркус Келлерманн, член правления колхоза «Unsere Zukunft» — «Наше Будущее», дал слабину, которая чуть не стоила ему жизни. Впрочем, слабину, свойственную большинству людей, зависящих от власти. За пару дней до массовой депортации он и еще девять членов правления были вызваны в райком партии и в присутствии военных получили подробные инструкции по организованной отправке населения в «восточные районы СССР», естественно, для собственной безопасности колхозников и их семей.

Был оглашен составленный заранее план, нормы выдачи продуктов, перечень документов и так далее. Маркусу, как бухгалтеру, поручалось оформить все надлежащие документы на каждую отъезжающую семью.

Всю эту огромную работу он должен был сделать в течение одних суток. Со всех присутствующих на совещании были взяты расписки о неразглашении, где указывалась и мера наказания — десять лет!

Утром, под лай собак и бляенье запертых овец, выехали на станцию. Состав охранял военный конвой. «По вагонам!» — каждая семья знала номер своей теплушки. Келлерманнам — вагон вместе с руководством колхоза. Иной бы позавидовал, но Маркусу было не по себе — видел, как косились на него соседи, «простые» колхозники. Отказаться, перейти в другой вагон не мог — все было заранее расписано и утверждено военными: у них списки, каждый человек на учете, да и времени нет.

План эвакуации через Керчь отпал — вокзал и переправу разбомбили. Остается двигаться на Джанкой, Мелитополь, далее по ситуации. Джанкой горит, весь в дыму, но проскочили. А вот до Мелитополя не доехали...

На станции, Маркус запомнил название на всю жизнь, — Акимовка, состав резко затормозил и встал. Было это на рас-

свете. В вагоне светло, а снаружи — дым, грохот разрывов, стрельба, треск мотоциклов, крики. На русском и на немецком. Но немецкий — явно не крымский, а коренной, северный.

От эшелона в поля бегут конвоиры, а по ним очередями лупят мотоциклисты в касках. Конвоиры с винтовками, кое-кто отстреливается, но большинство уже лежат. Мотоциклисты с автоматами прочесывают поле, добивают раненных. Наконец, распахиваются двери, команда на немецком: «Alle aus!» — всем выходить.

Выходим, стоим, кучками возле своих теплушек. Офицер что-то быстро говорит. Солдаты в касках и зеленых мундирах с погончиками сгоняют автоматами к насыпи. Короткие команды: «Мужчины — вперед! Евреи, коммунисты, комсомольцы есть? Два шага вперед!». Никто не вышел.

Офицер с пистолетом проходит вдоль шеренги, останавливается возле левого крайнего, громко спрашивает, обращаясь ко всем: «Кто это?». От вагонов кричат: «Председатель колхоза Бергер». Офицер делает знак солдатам в касках. Те вытаскивают автоматами тучного Бергера к краю насыпи и тут же, на глазах у женщин и детей расстреливают. Спихивают ногами обмякшее тело в кювет. «А это кто?» — «Секретарь парткома Крюгер», — кричат от соседнего вагона. Взмах пистолетом, и солдаты пристреливают и Крюгера, бывшего председателя Комбеда, который и проводил раскулачивание.

«А это?» — спрашивает офицер, тыча пистолетом в Маркуса. «Он — бухгалтер». Офицер делает тот же знак солдатам. Вдруг вырывается Марта, бросается на колени перед офицером, трясет книжечкой псалмов: «Он — не коммунист! Мы католики. У нас маленькая дочь!».

Трясущаяся Ангелина прижимается к Марте. Солдаты медлят. Маркус, поддегиваемый Мартой, опускается на колени рядом с ней. Офицер дает знак солдатам отойти. Звучит команда: «По вагонам!». Эшелон, уже без охраны, движется куда-то, а куда — никто не знает...

После горящего Мелитополя эшелон сворачивает не на восток, а на запад, в сторону Каховки. Однако на станции

Веселое снова резкое торможение, двери настежь и — команда на русском: «Всем на выход!». Солдаты в советской форме — взмыленные, злые. Мат, выстрелы. Команда: «Мужики — направо, бабы с детьми — налево». Быстрый допрос, сортировка.

Десять членов правления, и Маркуса в том числе, отводят в здание вокзала. Команда: «Приготовить справки! Входить по одному!». Вызывают по списку. Краткий разговор — выстрел. Следующий! Разговор, выстрел. Следующий! Выстрел...

Последним вызывают его: «Келлерманн!». Вошел — комната, вроде бани, без окна, полутемень, стол, стул, стена. И еще одна дверь, чуть приоткрытая, видны ноги — дверь на тот свет...

За столом рыжий парень, в петлицах по два кубаря — лейтенант. Пилотка под локтем, тряпичная звездочка выцвела, вспучилась, вот-вот оторвется. Глаза запавшие, неживые. В левой руке наган, правой достает из сумки пригоршню ржаных сухарей вперемешку с патронами, сыплет на стол. Лениво роется в сухарях, выбирает патроны, один за другим вставляет в гнезда барабана, прокручивает ладонью, проверяет на свет, все ли гнезда заполнены. Щелчок — снимает с предохранителя.

Продувает ствол. Взводит курок. Кладет наган перед собой. Поглядывает на Маркуса — устало, лениво, через силу. «Сознавайся!» — «В чем?» — «Шпионил? Сотрудничал с фашистами?». — «Да что вы?! У меня семья, жена, дочка...». — «Все немцы — шпионы». Снаружи — выстрелы, крики, мат.

Лейтенант лениво разглядывает справку Маркуса. Под краем пилотки целая стопка этих справок. «Они — фашисты?» — лениво повел мутными глазами на дверь. Маркус пожимает плечами.

Лейтенант смотрит искоса: «Значит, я не прав?» — Маркус молчит. — «Значит, ты прав, а я нет? Говори». — «Не знаю. Вопрос решен». — «Смелый. Что значит Келлерман?» — «Подвальный человек». — «Значит, в подвал тебя?» — Маркус не понимает. — «А что значит Маркус? Ты — еврей?». — «Не знаю. Все люди — братья».

«Ох, как тебя воспитали! Братья, пока делить нечего. Чего же вы полезли к нам? Братья!» — Маркус молчит. — «Тебе сколько лет?». — «Двадцать пять». — «Мне — тоже».

Всовывается молодое потное лицо, глаза белые, как блюдца: «Лейтенант! Кончай! Отваливаем!». Опять — пулеметные очереди, крики. Долгие секунды. «Как звать жинку?». — «Марта». — «А дочку?». — «Анна». — Кривая ухмылка: «Анна унд Марта баден. Стихи знаешь? Ну, что-нибудь, по-русски!» — «Поздняя осень, грачи улетели». — «Лес обнажился, поля опустели».

Лейтенант морщится, поднимает наган, но — на миг глаза в глаза, и наган повисает. «Ладно, держи свою бумажку. Вались под стол и, чтобы — тихо! Я жажну, уйду, а ты слушай, как эшелон тронется, беги в свой вагон. Поймают, скажешь, лейтенант Кудряшов отпустил. Ну! Под стол!». Маркус валится под стол, грохочет выстрел, хлопает дверь, затихают торопливые шаги...

Выскочил — эшелон набирает ход. Успел зацепиться за последний вагон. По крышам перебрался в свой, двери раскрыты, конвоя нет. Марта и дочка чуть живые. Уже простились с ним на веки-вечные...

Залез на нары, зарылся лицом в сено, чтобы не смотреть в другую половину теплушки, где тихо лежали осиротевшие семьи председателя колхоза товарища Бергера, секретаря парткома товарища Крюгера и членов правления — старики, женщины, дети, внуки. В два приема выбили всех руководителей колхоза, кроме него, Маркуса Келлерманна.

Счастье это, везение или как? Нет, здесь нужно какое-то другое слово, которого люди еще не придумали. До сих пор печет от этого «счастья-везения»...

Поехали — снова на восток. В Мелитополе появился конвой, оперативники, списки, проверка — все по-новой. Столько людей их охраняли, что Маркус подумал, вот если бы всех их в бой, фашисты не прошли бы так далеко.

А потом, уже в Казахстане, их самих, Маркуса и остальных спецпереселенцев иначе, как «фрицами», «фашистами», не обзывали. А если бы поверили им и дали бы оружие, они бы

вместе с русскими, украинцами пошли бы против настоящих фашистов! Маркус бы пошел.

Нет, не все было так просто и прекрасно, как может показаться. Маркус, как человек любознательный, прочел немало книг по истории и немцев, и вообще человечества.

Конечно, льготы, предоставляемые немцам-колонистам Указом Екатерины Второй, были немалые: земельные наделы, самоуправление, свобода вероисповедания, освобождение от оброков и воинской повинности, преподавание в школах на родном языке, льготы по налогам и прочее.

Но начались войны, перевороты, революции — и кто их придумал! Крымская кампания, Первая мировая, Февральская, Октябрьская революции, погромы, репрессии... Для немцев-колонистов наступили трудные времена, впрочем, как и для всего населения России.

И хотя немцы предоставляли русским войскам транспорт, провиант, ухаживали за ранеными, вообще оказывали сильную помощь, несмотря на явную лойальность, в столице, особенно в Думе, в органах власти усилилось недоверие к немцам, все чаще стали звучать речи о том, что немцы — потенциальные пособники врага, шпионы и готовы в любой момент выступить против русских.

И, наконец, появились Указы, ущемляющие немцев-колонистов в правах. В феврале пятнадцатого года был опубликован Закон о землевладении и землепользовании в государстве Российском, по которому иностранные выходцы немецкого происхождения либо их потомки должны были в течение двух лет продать свое недвижимое имущество.

Действие закона не распространялось на лиц, доказавших свою принадлежность к православному вероисповеданию от рождения или переход в православие до четырнадцатого года, свою родословную от участников и героев бывших на Руси войн.

Этот закон был объявлен «краеугольным камнем в борьбе с немецким засилием в России».

Келлерманнов и Фогелей этот несправедливый закон не коснулся, у Келлерманнов имелись две «похоронки» на

сыновей, а сын Фогелей Вальтер вернулся с войны калеккой. Некоторые, особенно старухи, расценивали беды, свалившиеся на семьи Келлерманнов и Фогелей, как «божью кару» за их «меморандумы» и сотрудничество с царскими властями.

Но всех немцев, так или иначе, коснулась кремлевская директива Ленина, о которой они и слыхом не слыхивали, но которая начала действовать с двадцать второго года. А суть ленинских инструкций, которые получали не только чекисты, но и суды, заключалась в следующем: «За публичное доказательство меньшевизма наши революционные суды должны расстреливать, а иначе это не наши суды», — заявил Ленин в речи на XI съезде РКП (б).

В первом советском Уголовном кодексе двадцать второго года появилась «знаменитая» 58-я статья, каравшая высшей мерой наказания за политические «деяния».

Секретный циркуляр ОГПУ от февраля двадцать третьего года подробно перечислял части общества, из которых надо брать людей, обреченных на физическое истребление.

Среди разных категорий отметим следующую: «тайные враги советского режима», из них — особо: «все бывшие землевладельцы, крупные арендаторы, богатые крестьяне; все иностранцы независимо от национальности; все лица, имеющие родственников и знакомых за границей; все члены религиозных сект и общин, особенно баптисты...».

Кто бы мог тогда подумать, что безумное «Ленинское завещание» будет претворено в жизнь и вызовет массовую гибель мирных трудолюбивых людей России, какими были, в частности, крестьяне и немцы-колонисты...

Маркус лежал на диване, Марта укрыла его пледом. Кажется, задремал.

И хотя ничего им не сказал, а лишь подумал, но на душе остался какой-то горький осадок: сам-то тоже участвовал во всей этой катавасии с раскулачиванием и колхозами, почему же других обвиняет, а себя выгораживает. Совесть-то у него есть или нет?!

Маркус стонет, лицо синеет, глаза лезут из орбит. Марта ложечкой разжимает стиснутые зубы, вставляет трубку дыхательного аппарата. Маркус, мокрый от пота, постепенно успокаивается, подремывает...

Ему кажется, что он спит. На самом деле — витает в прошлом. В таком прошлом, что кому сказать — не поверят.

Он видит свою бабушку, ту, самую первую, которая ласково называла его «Мой Марик». А он ее звал просто бабулей. И видит маму, ту, самую первую, не Хельгу, а... Соню. Мама Соня! Боже, какая она была мягкая, добрая, родная! И ему вспоминается рассказ отца Франца о том, как он и Хельга нашли его по дороге от Симферополя. То ли быль, то ли фантазия. Но нет, не фантазия! Муттер Хельга и фатер Франц — не шутики и не фантазеры.

Он снова лежит там в степи, ощущает эту мелкую, страшную пыль на лице, в глазах, в горле, в ушах — весь в пыли и сам — пыль...И через пыльную мглу видит себя мальчишкой, тем, каким был до пыльной бури, возле бабули и мамы Соня. И вдруг, на склоне лет осознает, что он, «этот», лежащий на диване старик, и «тот», счастливый мальчишка, — одно и то же.

Значит, все эти долгие годы, десятилетия, в нем хранилась великая тайна, о которой он и не подозревал. Теперь-то ясно, что никакой он не немец, не Келлерманн. А кто же? Смутная догадка обжигает его. Он пытается вспомнить хотя бы еще что-нибудь. Но единственное, что осталось от прошлого — его имя: Марик!

Он видит степь, бескрайнюю казахстанскую степь под низким сумрачным небом. Он едет на коне, пришпоривает, торопится к стану, где его ждет Марта со своим трактором. Сегодня, до шести вечера они должны отметиться в комендатуре, вдвоем явиться лично, иначе начальник запишет нарушение режима, а если не успеть, может записать попытку к побегу, для него это показатель хорошей работы, проявил бдительность...

Он пришпоривает старого конягу, тот храпит, недоволен, рвет уздечку, делает вид, будто прибавил шагу. Наконец, при-

ехали — навес из выгоревшего на солнце брезента, трактор. Марта возится в моторе, возле ног ведро с соляжкой. Маркус дает коню овса, воды. Коняга еле стоит на ногах. Марта гладит его, почесывает за ушами, он кладет морду ей на плечо, кажется, уснул. Пора в обратный путь.

Вдруг налетает шквал — ветер, пылица, вал за валом. Срывает навес, комом несет в степь. Укрыться негде. Из пылевой мути появляются волки — целая стая. Набрасываются на бедного конягу, тот лягается, громко ржет, пытается увернуться.

Маркус и Марта прячутся в кабину трактора. Из серой мути доносятся жалобное ржание, храп, стон. Марта выскакивает из кабины, хватается за паклю, заводную ручку, обматывает конец паклей, макает паклей в ведро с соляжкой, поджигает и, размахивая факелом, кидается на помощь лошади.

Следом выбирается из кабины и Маркус. Вдвоем они отгоняют волков. Лошадь, искусанная, чуть живая, прислоняется к кабине трактора, дрожит мелкой дрожью. Время не терпит, надо двигаться в обратный путь, отмечаться в комендатуре. Надежда на лошадь. И они двинулись.

Впереди лошадь, за ней с горящей паклей Марта, позади Маркус с ведром соляжки. Пыль, пыль, пыль — не видно ни зги. Если бы не их старый коняга, пропали бы в этой пыли, он угадывал путь домой чутьем...

Потом он видит себя в казарме Трудармии. Стоит босиком в проходе между рядами двухъярусных коек. Опухшие ступни горят после двенадцати часов работы за рулем по пыльным степным дорогам, на сапогах висят влажные от пота портянки, рядом, на табуретке рабочая куртка с белыми пятнами от выступившей соли.

Вдоль коек, по всей длине казармы стоят такие же трудармейцы. Сержант, рыжий верзила, проводит вечерний осмотр, останавливается перед Маркусом. «Рядовой Келерман, па-чему босиком?» — орет на Маркуса. Маркус показывает распухшие ноги: «В лазарет надо». «Отставить! Р-рядовой Келерман, быстро повтори «кукуруза, барабан, лазарет». Маркус повторяет. «Р-рядовой Келерман! Па-чему картавишь?

Па-ачему у тебя такой рубильник?». По казарме прокатывается гогот. «Отставить!» — гаркает сержант и снова к Маркусу: «Рядовой Келерман, обуься и на плац, сорок минут строевым — это тебе лазарет!».

Так повторялось каждый вечер, пока Маркус не выдержал, схватил табуретку и замахнулся на сержанта. За что получил два года дополнительной службы в той же казарме. Марта привозила ему настои из полевых трав, лечить пальцы ног и ступни, но от грибка он так и не избавился, до сих пор...

Он видит землянку, ночную степь, Марту и себя, лежащих на пыльной земле. Их тянет друг к другу, но нет той лунной дорожки, что была на берегу моря, их моря, а здесь только пыль, одна пыль, и они с грустью гладят друг друга, не решаясь на большее. И Марта, его сильная и любящая Марта, жалобно смотрит на него, и по щекам ее текут слезы...

И еще он видит, как хоронили Петру, ту деваху, что поехала с солдатом охраны в пустом вагоне, а потом ее, полуживую, привез старый казах на телеге. Ее завернули в какое-то тряпье, положили в неглубокое русло пересохшего арыка, засыпали сухой землей и обложили камнями, чтобы не разрыли волки и собаки. Постояли в скорбном молчании, а потом люди стали уговаривать Маркуса быть главным в их мрачном безвременном существовании. Что мог он им сказать? Только соглашаться, хотя практически ничем не мог им помочь.

И когда стали расходиться, вдруг дунул суховей, завертел над свежей могилой смерч, который поднялся было мутным грибом и осел пылевой шапкой. Люди в суеверном страхе опустились на колени и стали молиться...

Снова — приступ удушья, и Марта, его терпеливая и любящая Марта, разжимает ложечкой стиснутые зубы и подает живительный воздух в его зажатые спазмами легкие. Если бы не добрая Марта, он уже давно был бы в той серой, непроглядной мгле, где бродят его предки...

«Все эти страдания — за грехи предков, покинувших родину, и за наши грехи, предавших предков», — думает он. Ему

пригрезилось, будто он превратился в комок пыли, а Марта собрала веником этот жалкий комочек в совок и выбросила в мусорное ведро... Наверное, права Марта, которая в последнее время говорит, что пыль у нас в голове...

Мы сами — пыль и вообще жизнь — одна пыль...

Когда дыхание возвращается к нему, он удерживает Марту прикосновением руки.

— Послушай, Мартышечка, а ты знаешь, что я обнаружил в своем секретном сейфе? — говорит он в обычной для них шутовой манере и показывает на свой лоб.

— И что же, Маркушечка? — в тон ему отвечает Марта, довольная, что муж снова начал шутить. — Давай, открывай свой секретный сейф, выкладывай все, без утайки.

Маркус хочет рассказать ей о своей догадке, но настолько устал от прошлого, настоящего и грядущего, что, пробормотав «sp'ter», то есть «потом», засыпает. Или делает вид, что засыпает...

Они так хотели вернуться в Крым, в те места, где жили когда-то, где увидели друг друга и ту лунную дорожку через все море, где родилась их дочь. Но даже после реабилитаций хрущевской «оттепели» им и всем прочим немцам отказывали — возврат в места прежнего проживания запрещен. Почему? Ответа нет... Но вот родители погибшего Равиля на свой страх и риск съездили в родные места и вернулись с печальными вестями — дома сожжены или захвачены, никакие справки не действуют, кругом запустение, могилы порушены, дикость, родины больше нет — одна пыль. И сами они — пыль...

Маркус и Марта прожили еще две сталинские пятилетки, которые по четыре года, дождались от Ритули правнука по имени Клаус. Дочка Анна вышла замуж за солидного человека. Маркус так и не разгадал, откуда берется пыль, и смирился с мыслью, что это они сами постепенно превращаются в пыль.

Когда он, наконец, признался Марте, что по рождению не немец, а, скорее всего, еврей, она повертела пальцем воз-

ПЫЛЬ

ле виска и сказала, что у него склероз, она давным-давно знает, кто он и какой он, и вообще вся колония знала. И когда на станции Акимовка всех вывели на край насыпи и нацисты стали расстреливать, то никто не выдал, что он еврей, а могли бы...

Они умерли в один год и похоронены рядышком на старом католическом кладбище города Дортмунда. А сквалыжная фрау Магнер с третьего этажа по-прежнему моет окна по четвергам, но, разумеется, не сама, к ней ходит молодая женщина из немецкой службы «Pflege», то есть «Помощи больным, старым и немощным», службы, услугами которой Маркус и Марта так и не воспользовались, потому что на золотую рыбку не надеялись, привыкли обходиться без прислуги, все делали своими руками.

Нет, они не были пылью!

Дортмунд.
Германия

Анатолий Горюшкин

Смотритель маяка

Литературное эссе

Я — всего лишь смотритель маяка, мимо которого, подняв черные паруса, проходит молчаливая эскадра моих дней. Она идет своим, неизвестным мне курсом, преодолевая встречный ветер и мертвую зыбь.

Мимо города, в котором хозяйничает зима. Мимо сердца, уставшего жить и надеяться. Мимо каменистого берега, на котором стоит потухший маяк.

У его подножья с керосиновой лампой в руке суетится одинокий старик.

«Еще не все потеряно, — шепчет он, провожая взглядом последний корабль, уходящий за горизонт. — Еще не все потеряно...»

И каменные ступени лестницы, ведущей к вершине маяка, повторяют, как эхо, его слова: «Еще не все...не все...все...»

Поэты — колодники, прикованные к тачке стиха. Так хочется освободиться от размеров и рифм, убивающих душу и тело каторжника, так хочется на волю — куда-нибудь на согретую солнцем поляну, за которой шумит темный лес необузданной дикой прозы.

В детстве мы пасли звездное небо.

Помню: после жаркого летнего дня мы, деревенские подростки, выгоняли своих коров, коз и телят за околицу села. Возле ле-

са, на пологом склоне лощины было темно и прохладно. Мы бросали на землю свои потертые, выдавшие виды полушубки и тулупчики. Первые звезды дружески подмаргивали нам.

Хотел продолжить свой рассказ, но ... перо мое, как некогда говаривали сочинители, повисло в воздухе.

Вспомнил — все это уже было. У Тургенева в «Записках охотника». Мальчики у костра. Их лица, выступающие из мрака. Их рассказы. «Бежин луг».

Добавить почти нечего. Жизнь — жалкое подражание литературе и искусству. Особенно в нашей стране, где повторение кем-то придуманных постулатов стало знаком бесчеловечного закона.

Наша история сделана по каким-то странным лекалам. Она как бы не предназначена для человека. Наша история — круговорот мерзости, бессмысленной жестокости и абсурда.

Когда-то Гегель писал: «Все, что действительно, то разумно». Я же — применительно к нашей истории — сказал бы: «Все, что действительно, то безумно».

И все же — в детстве мы пасли звездное небо. И звезды еще помнят меня. И мои ночные рассказы, когда я, лежа на кислотоватой овчине, полускрыв глаза, пересказывал ребятам романы Жюль Верна.

Звезды еще помнят меня.

Декабрь сорок первого года выдался на редкость лютым. По ночам морозы доходили до сорока градусов. Деревенский дом, в котором мы жили, стонал и охал от ужаса.

Только печь не поддавалась натиску стихии. Огромная русская печь занимала почти половину дома. В ее топке, как в склепе, могла бы поместиться вся наша семья — вместе с домашними животными.

Сумерки наступали быстро. Уже в четыре часа темно. Бабушка Поля зажигала жестяной моргасик, сделанный каким-то местным умельцем из консервной банки и, перекрестившись, как полководец перед битвой, подступала к печке. Стоило лишь сунуть в печь зажженную лучину — и через мгновенье дом наполнялся весельем огня.

Но не было веселья в душе. Немцы подступали к Москве. Они подбирались к ней и с севера и с юга. Бои шли где-то недалеко от нашего села. По ночам слышны были разрывы снарядов и мин.

Одна из таких ночей особенно запомнилась мне. Где-то часов в шесть вечера за дверью раздался шум. Я выбежал в сени.

Чей-то веселый и хриплый голос ворвался в наш дом:

«Эй, хозяйка! Не робей! Это свои!..»

Мы сразу же открыли дверь. В холодные сени с шумом и гамом в клубах морозного пара ввалился взвод красноармейцев. Подробности, детали этого вечера почти не помню. Замерзшие ребята обрадовались, увидев пылающую печь. А чугунок с горячей картошкой, которую им сразу же выставила бабушка, сразил их наповал. Шутки, смех, беспричинное веселье — как будто вовсе и не было войны.

В соседней комнатенке, уютно пристроившись на деревянной лавке, при свете керосиновой лампы я вместе с героями романа Жюль Верна «Дети капитана Гранта» пробирался по диким горам Южной Америки. Я не заметил, спускаясь с заснеженных Кордильер в Патагонию, как возле лавки остановился один из новых постояльцев.

Испуганно поднял голову — передо мной, привалившись к дверному косяку, стоял молодой солдат. Он был лет на десять старше меня, по виду выпускник одной из московских школ.

«Что читаешь?» — спросил он, приветливо улыбнувшись.

Я протянул ему книгу.

«Ого! Замечательная штука, — произнес он, перелистывая книгу. — Дай — на часок. Почитаю перед сном...»

Я проснулся среди ночи. В соседней комнате на полу спали вповалку солдаты. В сумерках почти не были видны их усталые молодые лица. Свет шел откуда-то снизу — из-под пола. Деревянный люк, ведущий в подпол, где хранились картошка, огурцы и капуста, был открыт.

Я слез с печи, на которой спал в эти морозные ночи, подкрался к люку. Внизу — рядом с россыпью картошки на деревянном чурбаке сидел мой собеседник. Рядом с ним на каком-то ящике стояла керосиновая лампа. А в руках у него была

моя книга — «Дети капитана Гранта». И все приключения героев романа отражались на его лице.

С той морозной, лютой декабрьской ночи прошло почти семьдесят лет. У меня над головой, на книжной полке стоит толстый, потрепанный временем том. Я иногда достаю его. У него нет начала, нет заводского переплета. На самодельном бумажном переплете моей рукой написано:

«Жюль Верн. Дети капитана Гранта. Вокруг света в 80 дней. Вверх дном. 80.000 километров под водой».

Он издан в Москве в 1897 году — в типографии Сытина. С прекрасными рисунками Бенета, Невилля и Риу. Как я понимаю, французских художников, возможно, современников самого Жюля Верна.

Листы из книги вываливаются, она пожелтела от времени и невзгод, но есть в ней что-то — неуловимое, трепетное, чистое — чему хочется поклониться на старости лет.

Это — смутно выступающее откуда-то из глубины лицо молодого солдата, соединившего той давней ночью свою судьбу с судьбой детей капитана Гранта.

Как ни грустно об этом говорить, вряд ли ему удалось выбраться живым из кровавой мясорубки сорок первого года.

Надеюсь, он вместе с командой знаменитого «Дункана» успешно преодолел «ревущие сороковые» того океана, через который и нам всем когда-нибудь придется плыть.

Это случилось со мной, если мне не изменяет память, в конце лета, в начале осени. Место действия — подмосковный детский санаторий. За давностью лет не помню его точного названия и адреса. У меня обнаружили затемнение правого легкого. Решили подлечить.

Итак, я, шестилетний мальчик, попадаю в санаторий, но...

О, это коварное «но», как часто оно преграждало течение моей жизни! В силу каких-то ныне забытых мною обстоятельств, я был помещен не в общую палату в центральном корпусе санатория, а в отдельный изолятор, стоящий на отшибе, на краю огромного парка.

Помню, как меня привели в этот изолятор — и без лишних слов и напутствий оставили в нем. В глазах врача и медсестры я был чем-то вроде механической куклы. Молчит и, слава Богу, еды не просит. Посадили на край больничной койки и ушли. Даже не сказали на прощанье каких-то ободряющих слов. Теплоты в их глазах было не больше, чем во взгляде белой медведицы, подбирающейся по льдине к детенышу тюленя.

Темная осенняя ночь. Мрак. Как будто погасили свет во всей Вселенной. Луна еще не взошла. Натыкаясь на ветки деревьев, одна за одной гаснут звезды. Всего страшнее окна. Слепые провалы, за которыми ропщет, вздыхает, ворочается осенний парк. Иногда он заглядывает в окна. С интересом присматривается к фигуре мальчика, закутанного в одеяло. Прислушивается к его испуганному сердцу. Что-то хочет сказать.

Но мальчику непонятны эти речи. Он видит чьи-то лица за стеклом. Мутные, невымытые, туманные лица. Хочется куда-то убежать. Но куда? Маленький островок, на котором ты находишься, со всех сторон окружен морем одиночества и мраком ночи. А люди — далеко. Они забыли о тебе.

Главное — продержаться до утра. Ты находишься в изоляторе. За пределом обыденной жизни. На твоём лбу особенное клеймо. Тебя, как паршивую овцу, отделили от всего стада.

Ты еще не знаешь, что в «изоляторе» пройдет большая часть твоей жизни. Ты будешь из мрака пробиваться к свету. И снова попадать в этот «изолятор», где живут одной лишь надеждой.

Терпи, мужайся — и терпи!

Только в России наблюдается такое половое извращение ума: коммунист — атеист по убеждению, вместо молока матери всосавший сивуху марксизма-ленинизма — со свечой в руке в церкви, усердно слушает проповедь священника и осеняет себя православным крестом.

Товарищи по партии смотрят на него с умилением и восторгом. Он для них и Иисус Христос и Ленин в одном лице.

СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА

Самое счастливое мое свойство — почти полное отсутствие памяти. Свойство, прямо скажем, чисто национальное. Время протекает через мою голову, почти не оставляя в ней следов. Не помню ни речей, ни стихов, ни встреч, ни расставаний. Даже войны и революции ушли куда-то в подкорку.

Вместо головы — чистая доска, на которой время что-то пишет и зачеркивает. Пишет и зачеркивает.

И это счастье — как бы рождаться каждое утро заново. И с новой строки продолжать бессмысленную жизнь.

«Тяжело — звонкое скаканье» стиха у Мандельштама;
задыхающийся, в пятнах пены и пыли галоп Маяковского;
прерывистая, не подчиняющаяся правилам выездки, рысь
Пастернака;

аристократическое ландо Северянина;
«пара гнедых, запряженных с зарею» Блока;
замученная пьяным седоком кобыла Есенина;
деревянная лошадка Брюсова;
«птица-тройка» Николая Васильевича Гоголя...

Разбойничий посвист стиха, от которого осыпаются листья с деревьев и падают на колени прохожие...

Это было — в те годы, когда дерзость сливалась с молодостью, а сила с талантом.

От дедушки Васи мне в наследство достались — полупудовая гиря и медный кастет, собственноручно изготовленный дедушкой Васей на Коломенском паровозостроительном заводе.

Кастет — литой, невероятной тяжести, с мощными боковыми отростками, которыми можно пробить любую кирпичную стену.

Если его наденешь на руку — мир у твоих ног. К счастью, кастет не пришлось испытывать в деле.

Но иногда в минуты тяжких сомнений, когда земля уплывает из-под ног, на память приходит строка Маяковского:

*Сегодня
надо кастетом
кроиться
миру в череп...*

Увы, череп самого Маяковского не выдержал ответного удара. Рука потянулась к браунингу...
Дальнейшее — известно.

«Быть знаменитым некрасиво...»

Всегда чувствовал какую-то фальшь в этой строке. От нее пахивало подслеповатой поэтической пошлостью. Я как бы слышал убеленного сединами учителя. «Мойте руки перед обедом», — говорил он, обращаясь к неразумным первоклассникам.

Почему «некрасиво»?

В нашей стране «быть знаменитым» просто страшно. Это был знак беды. Знак смерти. Ты становился прокаженным. «Знаменитые» поэты на свое несчастье получили воспитание и образование до семнадцатого года. Они были благородным металлом в пустой породе варваров, захвативших власть. У этих варваров своя иерархия ценностей. Они сами устанавливали — кто знаменит, а кто — нет. Песок и глину, взятую из карьера истории, называли золотом, а золотишки, вкрапленные в пустую породу, именовали «лагерной пылью».

Наши поэты на своей шкуре испытали, что такое «быть знаменитым». Не буду называть их имена. Борис Леонидович знал это не хуже меня. Простите за кощунство. Но я иногда в кошмарном сне вижу эту крылатую строку на кумачовом транспаранте при входе в один из лагерей ГУЛага. Там, где сидели «знаменитые» поэты — вместе с такими же несчастными, «незнаменитыми» людьми, лишенными человеческого звания, имеющими лишь номер вместо фамилии.

Само творчество выделяет человека из толпы и делает знаменитым. Помимо его воли. И детская постановка вопроса «быть знаменитым некрасиво...» — иногда раздражает, а иногда смешит.

Ранний Пастернак никогда бы не опустился до такой банальности. Он был стихийным творцом. Мастером. А поздний Пастернак вообразил себя пророком. Он создавал свою

СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА

«нагорную проповедь». Он пас неразумные народы. Вел за собой послушное стадо.

Впрочем, не будем слишком строги к поэтическому гению. Иногда и великий пианист попадает пальцем не в ту клавишу. И если эта строка фальшива, и все четверостишие — топтанье на месте, то само стихотворение, отряхнув прах со своих ног, набирает силу — и уходит куда-то в космос, подальше от наших земных страстей и забот, подальше от нападок престарелого Зоила.

«Быть знаменитым некрасиво...»

Эта злосчастная строка (по Фрейдю) как раз свидетельствует — автору очень хочется быть знаменитым.

И это — естественно.

И это — прекрасно.

У меня короткое дыхание. Я — не стайер, я — спринтер.

Я могу одолеть стометровку стиха, какое-нибудь эссе длинной в четыреста метров с барьерами тоже мне под силу.

И даже пьеса, разделенная на акты и монологи, по структуре напоминающая беговую дорожку, в конце концов, мне покоряется.

В хорошей пьесе есть энергия свободного стиха, ее узловые точки — что-то вроде промежуточных остановок, где бегун выкладывается и, остановившись, набирается новых сил.

Гений, как правило, не укладывается в этические рамки, он все время пытается вылезти из картины за грани установленного моралью багета. Делает это, сокрушая окружающих и самого себя, высвобождая свою творческую энергию, которая не знает ни страха, ни морали, ни запрета.

Мне нравится не сам колокольный перезвон, а затихающий звук последнего удара в колокол.

Звук почти сливается с тишиной — и вечность поглощает его, обещая и нам, случайным слушателям, запредельное счастье и покой.

Это — не счастье, это — ожидание счастья. Тело тянется к земле, а душа пробует оторваться от земли — и ты в сладкой

истоме ищешь какие-то слова, чтобы вызволить свою душу из плена земных грехов и заблуждений.

Идешь по жизни, не замечая своих грехов, расталкивая локтями встречных и поперечных. Дорога кончается. Впереди — бездна, туман, мрак. Стоишь на краю обрыва и, глотая слезы, перематываешь кинолентку своей жизни — и с ужасом смотришь на человека, носящего твое имя.

Боже, ужели это я?

А пленку кто-то заботливой рукой уже укладывает в свой архив. На вечное хранение.

Сырой январский снегопад накрыл Москву.

Я вспомнил: двадцать пятое января — день рождения Владимира Высоцкого. Ноги понесли меня в сторону Ваганьковского кладбища.

А вот и оно. Смутно проглядывают сквозь завесу снегопада темные деревья. За ними — церковь с ее золотистым сусальным куполом.

Возле ограды — некто в сером. Немолодой бомжеватый мужик, полузакрыв глаза, тренькает на гитаре и выдает на гора что-то из Высоцкого.

Возле памятника — толпа. Мне показалось, что я присутствую на премьере «Бориса Годунова» в Большом театре. Те же лица и декорации. Народная стихия колышется и волнуется. Владимир Высоцкий солирует. Он — и Борис Годунов, и Варлаам, и юродивый.

Время на Руси как остановилось когда-то, так и не сдвинулось с места. Наверху — наглые, алчные бояре. Внизу — задавленный, но не сломленный народ, припавший к сердцу поэта.

Вдохновение, словотворчество, чудотворство...

Это всего лишь разношенный, уютный старый халат, в который ты залезаешь, чтобы согреться и отгородиться от холодного, безразличного к тебе мира.

И заплаты, и пятна на халате — зримые приметы твоей жизни, этого многолетнего «пира во время чумы», когда со-

СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА

седи валятся под стол, а ты дрожащей рукой подносишь к губам чашу цикуты.

И яд поэзии уже растекается по твоим жилам.

Мы вечно судимся со своей судьбой, со своей человеческой природой, с несправедливостью мира, нас окружающего. Пытаемся взвалить на них все тяготы и невзгоды нашей жизни, такой скоротечной и неустроенной.

Зачем? Ты сам вытянул свой билет, на котором расписана твоя поездка. Часы отхода и часы прибытия на конечную станцию.

Поезд тронулся. Двери заперты. И уже не выскочить из вагона на ходу.

Когда-то — то ли в шутку, то ли всерьез — я очертил себя магическим кругом от всякой нечисти. Но нечисть оказалась внутри самого круга — и, может быть, даже во мне самом.

Пытаюсь выйти за его пределы, убежать от дьявольской черноты своего нутра. И не могу.

Чтобы не было особенно страшно, бормочу чересполосицу, невнятицу, чушь. Иногда — это песенка. Или молитва. Иногда — подслушанный вздох ветра, принявшего облик золотой арфы. Или всхлип волны, сорвавшийся со смычка старинной скрипки, которая, как волнорез, режет стихию мира.

Встреча с Борисом Пастернаком... Так давно, что путаюсь в датах. Скорее всего — зимой пятьдесят шестого. Я — студент четвертого курса факультета журналистики Московского университета. Начинающий поэт, обсмеянный почти всеми однокурсниками, самолюбивый, как все поэты, застенчивый, как мартовский снег, но уже знающий себе цену. Поэт для немногих, чья поддержка весома и почти зрима, она — как волна ветра под крылом взлетающего сокола.

Творчество Пастернака только начинало прорастать в моей душе. Но достаточно было прикоснуться к его строке: «Февраль. Достать чернил и плакать!..» — и ты становился

пленником его поэзии. Впрочем, я уже сходил с ума от стихов Александра Блока, Велимира Хлебникова, раннего Маяковского. И новые территории только начинал осваивать.

Итак, я в Переделкине. Со второй или третьей попытки попадаю в дом Бориса Леонидовича. Моя дерзость граничила с бестактностью. Но мэтр, несмотря на занятость и все проблемы, связанные с «Доктором Живаго», принял меня.

Мы беседовали в комнате на первом этаже. Впрочем, это не была беседа. Был театр одного актера. Монолог длился, наверное, часа два.

Я был оглушен и ослеплен. От поэта исходило какое-то сияние. Он был прекрасен, молод, полон сил и огня. Знаменитая курточка из парашютного шелка придавала его фигуре юношескую стройность. Удивительная по силе и красоте речь была откровением для слуха начинающего поэта. Мы, привыкшие ко лжи и косноязычию современников, попадали как бы в самый центр Серебряного века, в иной удивительный мир, где царили красота, гармония, правда... Так думал я, возвращаясь из Переделкина в Москву...

Борис Леонидович деликатно перебирал странички моих юношеских стихов. На чем-то останавливался. Мне казалось, политическая составляющая моего творчества интересовала его куда больше, чем поэтическая. Я еще не знал, что он давно уже подверг сомнению и переоценке свои юношеские стихи и стал на позиции классической русской поэзии, осуждающей избыточную яркость и красоту. Правда — вот что ставилось во главу угла.

Он спрашивал меня о моих любимых поэтах. Я называл их. Чтобы придать значительность своему литературному вкусу, зачем-то назвал Эмиля Верхарна. После этого Борис Леонидович спросил меня, знаю ли я поэзию Рильке. А я в ту пору даже не слышал о таком поэте. Современникам двадцать первого века трудно представить — в какой душной, тесной, бездуховной тюрьме мы жили.

Поговорили о настоящем и будущем, о судьбе поэта на Руси.

«Никто не знает, что будет там — за углом, за поворотом», — сказал мне с грустью Борис Леонидович.

Мне кажется, он говорил не столько обо мне, сколько о себе, накануне поистине космического взрыва, который потряс Европу после выхода «Доктора Живаго». Поэт вместе со своим романом вошел в плотные слои нашей советской бездуховной атмосферы — и сгорел, ослепив человечество небывалой вспышкой. А потом опять начался мрак. И я в течение десятилетий был его свидетелем. Дым, пепел и смрад закрыли небо.

Могу добавить, что Борис Леонидович все же оценил какие-то зерна и ростки истинной поэзии в моих стихах. Его слова о свежести и новизне моего поэтического взгляда грели душу многие годы.

Потом я уехал на Сахалин. Однажды в редакцию районной газеты «Сахалинец», где я занимал должность заведующего отделом сельского хозяйства, пришло письмо на мое имя. Университетский товарищ Сергей Дрофенко рассказывал о московских новостях. Ничего особенного. Обычный сор повседневной жизни.

И вдруг — в конце письма: «Говорили о твоих стихах с Борисом Леонидовичем. Он помнит тебя. Передает привет. Называет тебя «поэтическим номиналистом».

Не верю своим глазам. Волнуюсь. Перечитываю письмо... Оказывается — Сергей Дрофенко, можно сказать, по моим следам отправился в Переделкино. Встречался с Пастернаком.

Эта весточка меня обрадовала. Если помнят твои стихи, значит, ты еще жив. Ничто еще не потеряно. И земля еще вертится.

...Я был на Сахалине, когда хоронили Пастернака. Через полгода вернулся в Москву. Навестил Сережу Дрофенко. У него на столе увидел рукописную подборку стихов из «Доктора Живаго» с пометками автора.

Вспомнилось... Зимнее поле, лес, замеченная снегом дача, седой художник с глазами врубелевского Демона... И давняя встреча вновь ожила в моем сердце.

И приняла окончательную форму.

Беда в том, что я свернул с проселочной, наезженной и натопанной дороги куда-то в сторону. Мой след затерялся в ту-

мане. И лишь облака знают, где валяется мой походный ранец. В нем хранится мое наследство — исповедь сына века, блудного сына, от которого давно уже отказался суровый отец.

Иногда мне хочется сказать, обращаясь к себе: «Анатолий, не говори, брат, красиво...»

Но старый конь, привыкший к цирковой арене, все еще по привычке мотает в поклонах головой, кокетливо выбрасывает подагрические ноги, размахивает поседевшей гривой и, как избалованный публикой тенор, ждет аплодисментов.

Но в цирке давно уж погасли огни — и только крысы шуршат и попискивают в остывающем песке цирковой арены.

Я никогда не любил стихи с так называемым «содержанием». Форма стиха, тело стиха — это и есть его содержание.

Арабского скакуна не надо впрягать в телегу.

На том и стою.

Люди, выросшие в тюрьме, все равно, что звери, рожденные в неволе. Свобода для них — пустой звук. Небо в решетку — это так прекрасно.

«И на штыке у часового горит полночная звезда».

Волга никуда не впадает. Земля не крутится, как волчок. Звездное небо над головой существует только в голове одного сумасшедшего философа.

Все это — и Волга, и Земля, и Небо — лишь сон Бога, на секунду смежившего свои очи.

Чье-то вдохновение управляет движением звезд. Я вижу иногда возникшего. Он держит в руках вожжи, на конце которых изнемогает от непосильного бега Вселенная.

У этого дня какое-то стертое, неприметное лицо. Он похож на старинную монету, прошедшую через волчьи зубы и медные трубы.

С этим потертым, усталым лицом он проходил по Земле — и во времена создания первых египетских пирамид, и в годы упадка Римской империи, и в дни российских расколов

и смут. Он устал от нашей истории, отвернулся от нее — как от неудачной шутки творца.

«Пошутили — надо и честь знать. Пора закрывать этот балаган», — думает он, заворачивая за угол мироздания.

Ныряю с берега своей жизни в омут.

Омут — зловещая черная вода наших воспоминаний. На нее страшно глядеть. Она чем-то напоминает почерневшее лицо утопленника.

Но если ты одолел свой страх, черная вода, омыв твои очи, расступится, станет прозрачной. И ты опустишься на самое дно своей памяти.

Я стою на берегу маленькой извилистой речки. Это — Меча. Мне, наверное, лет шесть. За железной дорогой огромная циклопических размеров долина. За ней — река Меча и старая мечеть, построенная каким-то обрусевшим татарским ханом.

Меча. Мечеть. Родственные звуки.

Июльская жара невыносима. Стою на берегу реки, слушаю шелест стрекоз.

Прямо передо мной, метрах в тридцати — омут. Черная вода. Мрак. Ледяная пена водоворота, сквозь которую проглядывают чьи-то свинцовые глаза. А за ними — в глубине — что-то безжизненное, огромное, распухшее тело.

И подойти страшно — и глаз не отвести.

Если бы я мог шевелить мозгами в ту пору, я бы, наверное, что-нибудь произнес. Мудрое, назидательное... Эдакое, с претензией на оригинальность:

«Омут — это наша память, где живое погружается во мрак, а мертвое оживает — и всплывает из мрака...»

Но я, как рыба на песке, только раскрывал свой рот и испуганно моргал глазами.

«Самое сложное для современного человека — убежать от самого себя, от привычного стандарта своей бессмысленной жизни, от ее обыденности и пошлости.

Как это сделать?

Знаю только один рецепт.

Надо занять себя, как ребенка, какой-нибудь новой игрушкой: строительством очередного ковчега для спасения человечества, обустройством своей души, потонувшей в нечистотах и стоках цивилизации, чтением фронтовых сводок о состоянии своего здоровья, которое, как гордый «Варяг», никак не сдается врагу...

И в какой-то момент, когда доверчивая душа, не подозревая твоего коварства, подсчитывает все плюсы и минусы очередного банкротства, выскочить из окна девятого этажа — туда, где ждет тебя полная свобода от самого себя...»

Так думал я, лениво помешивая чайной ложечкой в стакане, и подсчитывая грязные капли февральского дождя, осевшие на мутном стекле окна.

На календаре было первое февраля две тысячи восьмого года от рождества Христова.

Иногда я становлюсь благостным. Как проповедник на амвоне. Но проповедь, как заплесневелый сухарь, обычно застревает у меня в горле.

Очнувшись от чистого благостного сна, я снова оказываюсь за дверями Храма. На грязной паперти, где туманное утро подает милостыню нищим, осыпая их непокрытые головы хлопьями мокрого снега.

Наверное, среди них — мое место.

«Какая уж тут проповедь, — бормочу я, склоняясь в низком поклоне перед чьей-то улыбкой, осветившей небо. — Мои прихожане — это мои стихи. Мои прихожане — это мои грехи... Подайте — кто сколько может».

Как бы невидимая стена отделяет меня от видимого мира. Прозрачная, непроницаемая — как бронированное стекло в машине олигарха. Она находится внутри меня, на границе моего «я» и моего «не я». Пытаюсь вылезти из этой бездушной машины. Бьюсь лбом в невидимую стену. Иногда (по каким-то неведомым причинам) мне удастся выбраться па волю.

И тогда молодой пастух, сидящий во мне, (пастух, а не пьяный лабух с саксофоном) прижимает к губам заветную дудочку.

ку и выходит на зеленый луг, уже почти покрытый пылью города, на зеленый островок, где нет времени, а есть только пространство жизни.

И ветер подхватывает песенку моей пастушьей дудки и несет ее по грязным дорогам этого мира.

Я с ними отлично уживался. Принимал их как острую, непривычную приправу к своему ежедневному надоевшему рациону. Что-то вроде перца в пресноте моей жизни. Принимал их — как данность. Не пытался за счет их уплотнения решить свой жилищный вопрос. Не ставил перед ними невыполнимых задач.

Мне кажется, что и они относились ко мне с уважением. Во всяком случае за три года совместного прозябания под одной крышей, они не делали попыток оттеснить меня на второй план, не докучали своим присутствием в дневное время, не посягали на мою одинокую кровать. И даже делились со мной (впрочем, не всегда) куском хлеба.

Они — это стая крыс, поселившихся в моем доме.

Как давно это было! Пятьдесят лет назад. Я жил тогда на юге Сахалина, в захолустном городке по имени Анива, на берегу Анивского залива.

Дом, в котором я занимал две комнаты, был огромен, грузен, непригляден. Его построили японцы, занимавшие до сорок пятого года юг Сахалина. Стены дома были пустотелые, засыпные, заполненные гнилыми опилками. Раздолье для мышей и крыс. Зимний ветер проникал во все щели. На полу в ведрах замерзала вода.

Вечером, после окончания рабочего дня в районной газете «Сахалинец», я приходил домой. В зимнее время сразу же разжигал печь. Огонь успокаивал меня. Это был надежный, немногословный друг. Процедура с печью требовала некоторых навыков. Впрочем, весьма несложных. Когда разгорались взятые для затравки поленья, я поднимал лежащую на плите чугунную конфорку. Открывался кратер вулкана. Я высыпал в печь ведро угля. Этого запаса хватало почти до утра. Уголь постепенно набирал силу, через час плита раскалялась добела. Мне кажется, мои хвостатые компаньоны с интересом следили за моими действиями.

Я был достаточно одинок. Особенно в первый год моего пребывания на Сахалине. Но отсутствием аппетита не страдал. Печь переваривала угли, а в соседней комнате готовился холостяцкий ужин. Как правило, он состоял из нескольких банок консервов.

«Как надоели мне эти крабы, — вздыхал я, открывая очередную банку консервов. — Сколько можно: крабы и шпроты, шпроты и крабы, и этот — надоевший печеночный паштет. Глоток портвейна — вот, что поможет одолеть эту мерзость...»

После ужина, прислушиваясь к игре огня в моей печке, я позволял себе небрежно раскинуться на вечно неприбранной кровати. Естественно, с книгой в руках. За три года я собрал довольно большую библиотеку. К сожалению, она так и осталась на Сахалине.

Я открывал какой-нибудь том Оноре де Бальзака — и жизнь Растиньяка становилась сладким десертом к моему холостяцкому ужину. А двухтомник Эрнеста Хемингуэя переносил меня в иной мир, где любовь шла в обнимку со смертью, а большая рыба — как и счастье — всегда ускользала из наших рук.

А потом я — иногда с книгой в руках — засыпал. И как только гас в комнатах свет, начинался классический балет Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик». В новой постановке, приближенной к современности, где артисты честно работали буквально за кусок хлеба.

Крысы вылезали из всех щелей — и в соседней комнате, где топилась печь, устраивали пир. Для них я всегда оставлял на полке возле печи буханку хлеба. Когда она под натиском моих квартирантов с шумом падала на пол, я умиротворенно закрывал глаза и сладко засыпал. И сон мой был крепок, как девяносто-шестиградусный спирт, продающийся на каждом углу нашего городка. Спирт разливали в бутылки из-под шампанского. Местные алкаши называли эту бутылку «По-лем Робсоном» — у нее была черная головка.

Возможно, крысы на своем партийном собрании выбрали меня «крысиным генсеком». Возможно, они даже охраняли мой покой. На мою суверенную кровать они никогда не посягали...

СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА

Я иногда содрогаюсь от ужаса, вспоминая эти давние долгие зимние ночи.

Но молодость не знает страха и сомнений. Она, как пуля, выпущенная умелым стрелком, летит прямо в цель.

Цель же эта — как вся моя жизнь — не имеет ни лица, ни названия, ни смысла.

Ничто — помещенное в нечто.

Я перелистываю страницы своей памяти, оставляя на них отпечатки пальцев, чернильные пометки и помарки, бесплодные попытки что-то исправить, почистить, переписать заново. Полувековой туман рассеивается. И вот он — этот неуютный, похожий на тушу умирающего мамонта сахалинский дом, эта печь, как топка паровоза, заполненная раскаленным углем, эта долгая зимняя ночь...

Нужная страница найдена — и вновь начинается классический балет «Щелкунчик» на сюжет известного мистификатора Гофмана. Балет, где полуголодные артисты танцуют от печки.

Я давно не претендую на главную роль в этой постановке. Она мне уже не кажется такой интересной.

«Как хорошо быть рядовым статистом, — думаю я, стирая с лица полувесковой грим. — Как хорошо по выгодному курсу поменять свои страсти и заблуждения на солидный счет в коммерческом банке».

Но иногда — в бессонную ночь — кто-то шепчет мне на ухо: «От самолета, летящего высоко в небе, остается лишь длинный, напоминающий хвост кометы, почти прозрачный след.

Только след...»

Я засыпаю — и вижу, как Эрнст Теодор Амадей Гофман в летном шлеме, кожаной куртке и парусиновых сапогах сидит за штурвал самолета. Это, как мне кажется, «Блерио», старомодный биплан, собранный в начале прошлого века из дерева, парусины и энтузиазма конструктора.

Гофман поворачивает ко мне улыбающееся лицо, почти закрытое огромными очками, приветственно поднимает руку.

«Остается только след, — повторяет он. — Только след...»

И «Блерио» легко, почти без разбега уходит в небо...

Наталья Семынина

Женщина в белом

Марианна Сергеевна проводила девушку удивленным взглядом. Заплаканная, растрепанная, заляпанная грязью — на колени, что ли, падала, девушка шла, пошатываясь, вперив в пространство незрячие глаза, — такого неприкрытого отчаяния, всепоглощающего горя давно видеть не приходилось.

«Вот ужас-то», — подумала Марианна Сергеевна и смутилась. Смутило свое удивление невпопад. Где еще выказываться человеческому горю, как не на кладбище? Марианна Сергеевна покачала головой. Как-то даже неловко напоминать себе об этом в узком проходе между могил.

Хотя, надо признать, старое кладбище мало походит на юдоль скорби. Здесь людно, суетно. Бойкое место. На памяти Марианны Сергеевны так было всегда. Парочки прогуливаются по аллеям, отыскивают надгробия знаменитостей, их здесь много, на все вкусы, столетней давности и наших времен, — вековой некрополь всеяден. Это, действительно, город мертвых, где поколения сменяют поколения, где фамилии отвоевывают свой клочок земли, огораживаются, закрепляются; одни ряды возвышаются, другие сходят на нет, — целый город со своей планировкой, архитектурой, достопримечательностями. Сюда приходят семьями, с бабушками, с детьми, обустриваются, хлопочут, усердствуют за упокой с тем же напором, что за здравие.

С недавних пор старое кладбище попало в туристические маршруты. К воротам подкатывают автобусы, оттуда

высыпают шумные беззастенчивые туристы, целые группы, и под предводительством экскурсоводов устремляются за кладбищенскую ограду; так и шастают ватагой, громко переговариваются, тычут пальцами в могильные памятники под беспардонную скороговорку своих поспешающих вожakov. Это торжество жизни как всякий апофеоз не знает меры.

Любители кладбищенских прогулок ставили Марианну Сергеевну в тупик. Им, должно быть, недостает воображения. Их не страшит гнев мертвецов? Им не стыдно перед живыми? Марианна Сергеевна подумала о зареванной, перепачканной землей девушке. Отчаяние, во всей своей непривлекательности, не для посторонних глаз. Себя Марианна Сергеевна не чувствовала посторонней. Здесь покоились ее друзья. Два раза в год – весной и осенью она обходила их всех, стояла над каждой могилой, клала цветы, выпалывала лишнюю траву, и на душе у нее становилось просто и покойно. Ее друзья заслужили по себе добрую память, и при жизни они не были одиноки. Была надежда, что и ее не забудут. Когда придет ее час.

Такие мысли давали силы жить дальше. Она верила, что нет вечной разлуки и у начала нет конца. Посещения старого кладбища давно стали делом будничным, они как бы входили в жизненный цикл, как смена времен года, работа на дачном участке по выходным с апреля по октябрь, неизменное застолье в день рождения.

Теперь уже Марианне Сергеевне трудно представить свою жизнь без этого места, часов, проведенных здесь в неспешных раздумьях, и все реже вспоминается, что когда-то она не знала дороги сюда. И страшно сказать, стал забываться шок, потрясший в тот день, когда хоронили первого из сверстников. Потом пришлось провозжать в последний путь и тех, кто моложе. И как-то притупилось удивление перед ранними смертями. Хоть и трудно свыкнуться с тем, что они уходят, а ты остаешься и два раза в год приезжаешь на их могилы. Может быть, для того и хранит ее Бог. На старом кладбище, как нигде, становишься фаталистом.

Подобные размышления не будоражили, были привычны и не мешали умиляться прекрасной погоде, последним

погожим дням, последнему теплу, прощальному осеннему дару. Она расставалась с кладбищем до весны. Марианна Сергеевна с содроганием подумала о близком предзимье с промозглыми ветрами, мокрым снегом и слякотью, об изнурительных месяцах нашей долгой зимы. Весна казалась такой далекой. Марианна Сергеевна не задавалась вопросом, суждено ли ей встретить новую весну, давно положила предел своим помыслам: довольно дня текущего, за него благодари, а там — будь что будет, не стоит испытывать судьбу.

На женщину Марианна Сергеевна сначала не обратила внимания. Она ничем не выделялась в многолюдном встречном движении. Марианна Сергеевна краем глаза видела светлую фигуру, что-то белесое было на ней, как выяснилось потом, — бледно-серый выцветший плащ. Трудно было заподозрить, что женщина следует за ней. И попытка незнакомки завязать разговор тоже не удивила, любителей поболтать здесь не меньше, чем в любом другом месте, человеческая природа верна себе. Такая перспектива не слишком прельщала, излишняя общительность утомительна даже в очередях; Марианна Сергеевна была из того поколения, что полжизни провело в очередях, но тем и приучена философски смотреть на вещи. С покорным вздохом она повернулась к незнакомке, вежливо выжидая. Для начала женщина спросила, который час. Марианна Сергеевна развела руками — нет часов. Она указала вверх, на небо, солнце было скорее низко, чем высоко.

Женщина посетовала, что день пошел на убыль, и чуть замешкаешься, уже смеркается, тут как-то запозднилась, так просто страшно, типы подозрительные возникают, бомжи, позавчера бабушку одну ограбили, избили, скажите спасибо, хоть не придушили, к сыночку пришла.

Марианна Сергеевна тем временем пригляделась к непрошенной собеседнице. Первое впечатление не обмануло, в самом деле, ничего примечательного, среднеарифметическая такая, стертая лицо и столь же неопределенный, что называется, средний возраст, может, за сорок, а может, уже пенсионерка, крашеная блондинка, седина пробивается у корней волос, вещи не новые, но все аккуратное, вычищено, выгла-

жено, светлые туфли на школьном каблуке под тон плаща... Бабочка-капустница.

Это из детства. Сравнение всколыхнуло в памяти нечто пасторальное, немисливо далекое, беспечное, как золотой век. Цветущий луг, порхающие бабочки, дитя с громким смехом носится за ними, мелькает в воздухе голубой сачок. Чаше всего в сачок попадались капустницы, они ловились и руками, подкрадешься к зазевавшейся на цветке бабочке, схватишь пальцами сложенные крылышки, потом отпускаешь. Кому нужна невзрачная капустница, кому интересна? Белянка дрожит крылышками, взмахивает ими и срывается с ладони. Улетает. Девочка прыгает, машет ей вслед и не догадывается, как безжалостно обошлась с божьим созданием, пальцы, пусть и детские, грубый инструмент для такой деликатной материи, травмируют, калечат крылышки, стирают пыльцу или как там у них называется...

— Капустница, — сказала Марианна Сергеевна, сказала то, что взбрело в голову. — А летом здесь, наверно, капустницы летают. Летом бы сюда попасть. Все как-то не получается.

— Летом?

Женщина, казалось, сбита с толку.

— Летом, знаете, здесь тоже всякой шпаны хватает. С магнитофоном через плечо.

— Представляю, — сочувственно произнесла Марианна Сергеевна и поспешно прибавила, — я говорю, теперь уж до теплых времен.

— Вы больше не придете сюда? — с непонятным беспокойством спросила женщина.

Марианна Сергеевна пожала плечами.

— До весны, по крайней мере. Если доживем.

— А я думала...

— Что? — насторожилась Марианна Сергеевна.

Ей как будто передалось чужое волнение, смутное, оттого нехорошее.

— Я думала, мы еще встретимся.

— Может, и встретимся.

Если доживем, — хотела повторить Марианна Сергеевна, но удержалась.

Женщина заглядывала ей в лицо, что было неприятно, хотелось спрятать глаза, как-то укрыться от чужого тревожного взгляда, одновременно просительного и нетерпеливого.

— Возьмите у меня книгу, — сказала женщина.

«Господи, только не это», — мелькнуло в уме.

— Вы продаете книги?

— Нет, то есть, да... не знаю, что вы думаете.

Женщина запустила руку в свою бесформенную хозяйственную сумку, стала шарить в ней.

— У меня нет денег, — сухо заметила Марианна Сергеевна, что было сущей правдой.

Но женщина уже извлекла на свет божий небольшого формата книжечку, протянула Марианне Сергеевне.

— Посмотрите. Стихи мужа.

Марианна Сергеевна тупо уставилась на пеструю обложку, осенняя листва, бумага плохая, краски не лучше, довольно неприглядно, аляповато, ничего не говорящая памяти фамилия.

— Вашего мужа?

Женщина кивнула, не сводя с Марианны Сергеевны своих беспокойных глаз.

— Я после смерти собрала.

— Он здесь?

Женщина снова кивнула.

— Я тут часто бываю, знаете... знакомых встречаю, а вас сегодня впервые увидела... Возьмите, я недорого продаю.

Она назвала действительно небольшую сумму, немногим дороже пакета молока.

— Если б вы знали, сколько мне стоило. Сама, все сама. Самиздат.

Женщина неуверенно улыбнулась.

«Будь у меня эти деньги, — рассказывала после Марианна Сергеевна друзьям, — я бы, конечно, отдала ей».

Пришлось отказывать — сомнительное удовольствие, еще неизвестно, для кого унижительней.

— Возьмите так, — сказала женщина, — вы мне понравились.

— Да нет, зачем?!

Марианна Сергеевна отшатнулась, как будто ее толкнули в грудь.

Женщина заморгала смущенно, но руку с книгой не убрала.

— У вас интеллигентное лицо.

— Нет, нет, — быстро проговорила Марианна Сергеевна, — я не могу.

Она сама не понимала, что движет ею, заставляет упрямо отнекиваться. Возможно, возмутила чужая назойливость, да и жалкий вид книжечки, точно заляпанной, с ее дурацкими листьями на обложке, какими-то затертыми, грязными, вызывал чуть ли не брезгливое чувство, но как бы то ни было, как вспоминала позже Марианна Сергеевна, принять непрощенный дар было выше ее сил.

— Мне неудобно. Я не знала вашего мужа.

— В предисловии все написано.

— Как-нибудь в другой раз.

— Другого раза не будет, — сказала женщина.

— В жизни всякое случается, — успокоительно заметила Марианна Сергеевна и примолвила, что ей пора, надо торопиться, если хочешь засветло попасть домой.

Женщина поддакнула, но с места не сдвинулась. Марианна Сергеевна попрощалась с ней и направилась к выходу, но не пройдя и двадцати шагов, спохватилась. А что, собственно, эта малахольная имела в виду?

Марианна Сергеевна обернулась, искала глазами бледную фигуру, но не нашла, женщина исчезла, испарилась, канула. Была или привиделась?

Но ее последние слова не выходили из головы. Другого раза не будет. Что за намски такие? К чсму? Предостережение, предчувствие, предположение? А может, не стоило вслушиваться в лопотание бедной вдовицы в надежде распознать его глубинный смысл? Смысла там не больше, чем в трепыхании злополучной белянки. Дрожит помятыми крылышками, хлопает ими, пытается расправить их, пытается взлететь. Все равно далеко не улетишь. Капустница. «Бог с ней», — говорила себе Марианна Сергеевна, желая побыстрее забыть нелепый

случай и все досадное, связанное с ним, но почему-то не забылось, какой-то дурной осадок остался в душе. Капустница.

— А ты не подумала, — полушутя, полусерьезно спросила Марианну Сергеевну старая приятельница, — что это явилась тебе Женщина в белом?

— В обличии обалделой тетки с кошмарной авоськой?

— У каждого своя судьба.

— У каждой судьбы свое обличие, хочешь сказать?

Разговор шел в кругу друзей, все понимали друг друга с полуслова, посмеялись, поохали, признали, что живем в большое время.

А один, к слову, самый старый из них, поинтересовался у Марианны Сергеевны, как фамилия покойного стихотворца.

— Я не запомнила.

— Твое счастье.

— Что ты нас пугаешь, — весело спросили с другого конца стола, — и здесь нашел криминал?

— Да нет, — сказала Марианна Сергеевна, слишком давно она знала лукавого старца, чтобы изображать удивление. — Это он меня стыдит.

Ответом ей была поистине вольтеровская усмешка.

— Я сказал, что рад за тебя. А что до стыда... Да, потом бывает стыдно.

— Да вы о чем, ребята? Хватит камлать.

Хозяйка дома растерянно улыбалась и разливала по чашкам настоявшийся крепкий чай.

Жаль было нарушенного уюта застольной болтовни.

— Ты же любишь разгадывать кроссворды, — сказала Марианна Сергеевна. — Вдруг ко всему прочему он еще окажется великим поэтом. Потом. Как водится на Руси.

— А вдруг..?

Я устал

Наша память избирательна по своей прихоти. Вдруг какая-нибудь щепка, песчинка в потоке жизненных впечатле-

Я УСТАЛ

ний — случайная встреча, мимолетное видение, — остаются неизгладимым воспоминанием, тогда как столь занимавшие нас когда-то споры, дела, волнения почти забылись.

Возможно, предстань он передо мной, что говорится, во плоти, доводись мне увидеть его, хотя бы беглым взглядом утолить любопытство, эффект был бы иной.

Но это был голос, только голос, и сказать, что он до сих пор звенит в ушах, не такое уж преувеличение, во всяком случае, от меня не требуется ни малейших усилий, чтобы представить его — как еще определить память слуха, ведь не о слуховых галлюцинациях идет речь, — высокий, отчаянный, воспаленный. Бессонный голос. Полно долго рассуждать о магии звука, бестелесного, невесомого, но способного пронзить насквозь, способного воскресить и убить, а голос человека — самой природой созданный виртуозный инструмент...

Я словно слышу его — взлетающий вверх, замирающий и падающий на выдохе:

— Я устал.

Было раннее утро, утро, потому что уже рассвело, дело было летом, ясным летом, но о ту пору, когда все нормальные люди мирно спят, начало шестого, наверное, — еще не продрембезжал первый трамвай. По сезону стояла и погода, окна не затворялись на ночь.

Я не спала. Знатоки оценят этот классический час бессонницы и его настороженную тишину, уже не ночную, не таинственную; какую-то строго выверенную, чистую тишину, в которой четко отдается каждый звук, определенный, будто очерченный в воздухе.

Мы жили на третьем этаже, довольно близко к земле, нашей грешной, залитой асфальтом земле, отпетой экологами, чадной, а моя комната так вовсе смотрела на улицу, на узкий переулок, окна в окна с домом напротив, узкий и особо гулкий.

К тому же недавно на переулке (лучше места не нашли) установили телефоны-автоматы, как раз невдалеке от нашего мрачного визави, большого серого здания, застывшего нам белый свет. Таксофоны не были защищены даже будками, ви-

сели на стойках в открытых ячейках. Видеть из своего окна я их не могла, но слышать истошные крики их несчастных пользователей, пытавшихся перекрыть уличный шум, порой слышала.

И когда раннюю тишину резко нарушил громкий голос и возбужденно заговорил, я сразу поняла, что кто-то звонит по телефону. Удивило только время.

Я не успела подумать, что должно быть что-то страшное, какая-то беда у человека — что еще могло заставить его выбежать из дома в шестом часу утра и броситься к первому таксофону, как голос завладел моим вниманием.

Без спросу, без стеснения он врвался в окна, тревожил слух, хочешь не хочешь — прислушаешься, он мог разбудить спящего, а уж мне, с моей бессонницей, просто деваться было некуда. Не было причины так шуметь, ничто не мешало разговору, но голос напряглся и звенел по своей внутренней логике. Тогда же мелькнула мысль: — крик души.

Мне не пришло в голову, что это может быть пьяный кураж, не думаю так и сейчас. Пьяный надрыв выдает себя пошлой аффектацией и дешевой слезой. Но в измученном метущемся голосе не было слез, иссушенный бессонными ночами, обожженный голос.

Да, он беспокоил, он неприятно задевал именно своей мученической правотой, переполнявшим его страданием, безысходным, бившимся в нем, как в силках. Прямо сгусток боли, душевной муки, не находившей исхода в скудных, беспомощных, затертых словах.

Отчаявшись выразить себя, человеческая тоска обреченно отступала, откатывалась, опадала, как соленая волна.

— Я устал, — говорил голос.

И тут что-то обрывалось во мне, невольном слушателе. Нет, видно, напрасно я поминала избитые слова. В этой безыскусной жалобе было столько горькой человеческой правды, беззащитной перед миром, перед людьми и обстоятельствами, что каждый раз рефреном повторяющаяся короткая фраза отзывалась во мне болезненным ощущением какой-то личной причастности, можно назвать его сопереживанием.

Я УСТАЛ

«Я устал». Собственно, здесь в двух словах вся его житейская драма. Довольно тривиальная, судя по всему. Как в анекдоте: муж в командировке, а жена...

Да, он отсутствовал некое время. Работал за границей.

Сразу уточню: история эта давняя, перенесемся мысленно лет на тридцать назад, в конец семидесятых, незабвенных семидесятых, в эпоху развитого социализма. Помнящие поймут с полуслова, а к беспамятству что толку звать.

Хотя выросло уже новое поколение, которое весьма смутно представляет себе, что такое магазин «Березка» и валютные чеки и какие привилегии давало обладание оными; и на что пускались граждане, чтобы обзавестись ими, вождеденными, ибо только на эти чеки, выдаваемые в обмен на заработанную за рубежом валюту, можно было приобрести японскую видеоаппаратуру, французскую дубленку и прочая и прочая. Ностальгирующие могут продолжить...

Все имеет свою цену — я не касаюсь жизни верхов, номенклатуры, но простому смертному свой кусочек сладкого пирога доставался собственным горбом. Что тогда означало «собственным горбом» каждый может представить в меру своего воображения. Работа советских специалистов в развивающихся странах. Несколько лет, угробленных где-то в африканских пустынях, в душливых джунглях, на азиатских плоскогорьях; изнурительный климат, изнурительный труд, оторванность от мира, маленький коллектив, советская общность в миниатюре, да еще надо пройти сквозь анкеты, собеседования, инструктажи, интриги. Долгие дни в чужих песках.

Из такой командировки и вернулся наш работяга, об этом он и кричал в телефонную трубку, о том, что, как ишак, вкалывал... кажется, он называл даже страну, не то Йемен, не то Судан, но что-то с песками связанное, а она тут, надо понимать, жена, следовало ненормативное выражение, правда, единственное, что он себе позволил за весь разговор; он говорил не с женой, а с ее матерью, то ли он и хотел объяснить с тещей, то ли звонил жене, а теща взяла трубку, так сказать, прикрывала дочь, уставшую от выяснения отношений.

Или бы то ни было, он говорил со старшей и как будто сознавал это; до нее, до старшей, он пытался докричаться, и веря и не веря, что будет понят, до нее, до старшей, хотел донести свою боль. И натываясь на стену, в изнеможении упирался в нее лбом.

— Я устал.

Жена обманула его, — пока он горбился там, она тут нашла себе другого, загуляла в отсутствие благоверного, но, похоже, у скандала было продолжение, и теперь жена уходила от него, вдобавок претендуя на свою, женину, долю таким трудом нажитого имущества, — намек на такую коллизацию вроде бы проскользнул в разговоре.

Обида, едкая, жгучая, травящая душу обида; наивная, какая-то детская растерянность перед столь очевидной несправедливостью; отчаянная попытка защитить себя и предчувствие своего поражения.

— Я устал.

Неужели это не было услышано?

Боль, откровенная, неприкрытая человеческая боль.

Неожиданно разговор оборвался.

Он бросил новый упрек, вернее, свой единственный аргумент, так и смяк повторяемый, он по кругу возвращался к нему, но не мог придумать ничего лучше, проще и правдивее.

Пока он там жарился в пекле, она...

На мгновение он замолчал, слушая ответ, наконец-то на том конце нашлись какие-то слова.

И вдруг он коротко вскрикнул: а! — как будто у него перехватило дыхание, и, даже переведя дух, смог лишь повторить сказанное ему.

И голос его странно зазвенел:

— А, вам больно это слышать!

Почему-то именно эта фраза доконала его, может быть, своим подноготным лицемерием.

Он сорвался, закричал по-склочному, истерически;

— А, так берите все, все, все себе забирайте!

Дальше он не мог продолжать. Возможно, остатки гордости удержали его, не дали скатиться к пошлому скандалу, остатки гордости и человеческого достоинства.

Я УСТАЛ

Не его вина, что он проиграл. Они были сильнее его; его, бесхитростного, уязвимого, с его простодушной попыткой найти общий язык, хотя бы быть услышанным, его, выбежавшего из дома в ночь. Они были сильнее, владельцы своей территории, хозяева своего места под солнцем.

Не получилось даже красиво хлопнуть дверью. Не его вина. Изначально силы были неравны. Он должен был понять, наверное, он и понял. Во всяком случае, не проронив больше ни слова, повесил трубку.

Внезапная тишина за окном застигла меня врасплох. Привычно напряглась, ожидая, когда на долгом выдохе он уронит такое неизбежное, как точка в конце длинной фразы:

— Я устал. Еще вслушивалась, я еще надеялась услышать.

Зачем? На что мне оно сдалось? Бог весть. Не знаю и сейчас.

Но то, что он пропал так вдруг, неслышно, как и пришел, растворился в воздухе с последним вскриком, последним словом, оставляло неясное, смутное чувство. Да было ли что-нибудь на самом деле, кроме этого голоса, какая-то иная реальность, что-то из плоти и крови? Или отчаянный голос бился в воздухе сам по себе, то натягиваясь, как струна, звеня, то бессильно опадая, терзаясь и терзая. Эффект радио, но там приемник, антенна, радиосеть — все неизбежные аксессуары радиовещания — переводят чудо в разряд технических достижений, причем, довольно старых, мы так и привыкли воспринимать его, не удивляясь и почти не замечая.

Но голос в утренней тиши, не соотнесенный со зримым образом говорящего, не связанный с ним, как бы лишенный оболочки, но страдающий, живой, волновал первозданно, первобытно. Он был сильнее брэнного тела, голос души, такой же незримой, неосязаемой, одинокой человеческой души, пытающейся поведать миру о своей боли.

Но кто поможет, кто отзовется, да и чем ответить на тихую жалобу, с покорной безысходностью обращенную к небесам ли, к судьбе, к самому себе?

Я устал.

Евгения Перова

Четвертый попутчик

Мы помолчали, обдумывая услышанное.

— Да-а... — произнесла, наконец, Аделаида, — бывают же странные истории...

— А позвольте-ка, господа, — сказал вдруг наш четвертый попутчик, до сих пор не принимавший никакого участия в разговоре. Это был пожилой человек в старомодных очечках, всю дорогу читавший толстую книгу, обернутую в газету.

— Позвольте и мне внести свой скромный вклад в вашу занимательную беседу. Так вот, историю эту рассказала со слов отца моя матушка, которой нет уж в живых — царствие ей Небесное! Отца своего узнать я не успел: когда мне было полтора года, он ушел добровольцем на фронт и через два месяца погиб где-то в белорусских болотах.

Происходил он из небогатой интеллигентной семьи, много читал и сам пописывал: немало бумаги перевел на восторженные стихи да романтическую прозу. Даже и драмы пробовал сочинять, и небезуспешно. К тридцати с небольшим годам стал он в своем заштатном городишке заметной фигурой: писал в областной газете хлесткие фельетоны и острые репортажи, а местный драматический театр даже собирался ставить его пьесу.

Но однажды заметил он вдруг, что плавное течение жизни начинает как бы сбиваться с пути: какой-то мощный поток подхватил и понес его неведомо куда. Странные образы и видения мерещились ему, не давали покоя и смущали дух. Он писал, как заведенный, и днем, и ночью. Жар творческий, бо-

ЧЕТВЕРТЫЙ ПОПУТЧИК

лезненный и беспощадный, овладел им со страшною силой. Вдохновение это было или одержимость? Он сам не понимал, что с ним такое делается, и начинал даже сомневаться в собственном рассудке!

Так продолжалось с год, пока не окончил он своего сочинения. Тогда он словно бы очнулся. Он сам перепечатал роман двумя пальцами на старенькой машинке, и всюду носил с собой — и рукопись, и перепечатку, боясь расстаться хоть на секунду.

Это был странный роман... Но гениальный! Или безумный.

Во всем городке не было никого, кому можно было бы прочитать это сочинение, кто оценил бы мощь и красоту произведения. И отец мой решил поехать в Москву, дабы там обрести читателей и критиков своего романа.

Не буду утомлять вас подробностями, скажу только, что в Москве познакомился отец с одним завзятым театралом, который и пристроил его на какую-то мелкую должность в известный театр.

Дальше — больше, завязались знакомства, и случилось так, что кто-то из новых приятелей взял его с собой в некий дом, где предполагалось чтение нового произведения знаменитого писателя. Отец прихватил и свой роман — а вдруг ему удастся заинтересовать мэтра! Сел он скромно, в уголке, робко оглядывался по сторонам, примечая все подробности обстановки и разглядывая приглашенных. И вот чтение началось. И с первых же строк...

— Простите!

Рассказчик наш с чувством высморкался. Пока он старательно вытирал нос клетчатым платком, мы молчали, томясь в ожидании продолжения. Было тихо. В соседних купе давно спали. Стучали колеса, звякали чайные ложечки в пустых уже стаканах, где-то впереди гудел время от времени электровоз...

— Так вот, — с первых же слов, прочитанных слабым хриловатым голосом автора, почувствовал мой отец страшное потрясение. Озноб охватил его, руки и ноги затряслись. Ему по-

казалось, что некая пропасть, полная невыносимого сверкающего света открылась вдруг перед ним, и он падает в эту зияющую пропасть, падает, летит стремглав... пропадает...

Ибо то, что читал этот усталый человек своим тихим простуженным голосом, и было его — отцовским — собственным романом! Тем самым романом, что в эту самую минуту лежал у его ног в стареньком портфеле в количестве двух экземпляров: один рукописный, другой — печатный! Конечно, конечно, буквального совпадения не было. Повороты сюжета, персонажи, обстоятельства отличались друг от друга, но главное, главное — было тем же самым!

Как! Как это возможно? — думал мой отец в полном смятении. Никто! Никто не читал его сочинения! И сам он не прочел ни одной вещи этого писателя... что же это такое? Что?!

Чтение окончилось, все разошлись, отец вышел последним, прижимая к груди портфель. Он хотел было подойти к мэтру, рассказать, но... кто бы поверил? Как это возможно, как?

Он бродил по темным московским улочкам в полном смятении всю ночь, и к утру принял решение. Он вернулся домой, в родной городок. На обратной дороге, в поезде, встретил он свою будущую жену и мою будущую мать, которая своей любовью и участием помогла ему сохранить рассудок и как-то выжить после всего случившегося. Она была и единственной читательницей злосчастного романа, оба экземпляра которого сожгли они в печке в один из промозглых осенних вечеров.

Отец во всю свою оставшуюся жизнь не написал больше ничего. Происшествие это мать рассказала мне где-то в конце шестидесятых годов — или в начале семидесятых, когда этот знаменитый роман был, наконец, опубликован.

Вот и вся история. На этом позвольте мне с вами попрощаться, благо станция моя уже близко.

Он встал, взял портфель и направился к двери.

— Пойдите! — сказала Аделаида, — пойдите! Так что же это был за роман?!

— Ну-у, господа! Я думал, вы давно догадались, какой это был роман! Неужто нет? Что ж, извольте!

И он, сверкнув стеклами очков, нараспев произнес:

— В белом плаще с кровавым подбоем, шаркающей кавалерийской походкой, ранним утром четырнадцатого числа весеннего месяца нисана в крытую колоннаду между двумя крыльями дворца Ирода Великого вышел прокуратор Иудеи Понтий Пилат...

Конспект романа

Князь Петр ехал верхом.

Тяжелая карета, запряженная четверкой цугом, с трудом поспевала за резвой рысью бодрого жеребца — недавно прошел дождь, и дорогу развезло.

В карете сидели супруга князя, ее горничная с mopсом на коленях, испуганно косившаяся в окно на ряды корабельных сосен вдоль дороги, и бабка-повитуха, не выпускавшая вязанья из рук.

Молодая княгиня была на сносях. Дорога утомила ее чрезвычайно, и она мечтала только о теплой постели. На подъезде к господскому дому у нее начались схватки, и, промучившись некоторое время, она произвела на свет девочку. С брезгливым недоумением рассматривая красный орущий комочек, княгиня недоверчиво слушала повитуху, предвещавшую малышке неслыханную красоту.

Впрочем, так оно впоследствии и вышло. Князь Петр подарил жене бриллиантовый фермуар, а Александр Сергеевич Пушкин, бывший некогда в числе поклонников княгини, приветствовал рождение милого ребенка изящным стихом, правда, несколько запоздалым — новости медленно доходили до северной столицы. Девочку назвали Еленой.

Спустя три года, проезжая поблизости, великий русский поэт навестил княгиню, принявшую его весьма благосклонно, благо ревнивый муж отсутствовал по делам. Пушкин приласкал малютку, выпил чаю с вишневым вареньем и уехал в Петербург — навстречу злополучной судьбе, принявшей на сей

раз облик белокурого красавца Дантеса с дуэльными пистолетами в руках.

В памяти маленькой Елены не запечатлелось никаких подробностей краткого визита солнца русской поэзии, но со временем она привыкла рассказывать — со слов взрослых, что сидела на коленях у Пушкина, и картавым детским голоском читала желающим посвященные ей стихи. Пока что она подрастала, радуя отца и тревожа своей юной прелестью привыкшую первенствовать мать.

В шестнадцать лет Елена, как положено, влюбилась в учителя своего брата — молодого художника, поражавшего горничных волной темных кудрей и бархатной блузой. Позирование для многочисленных портретов привело живописца и модель к такой взаимной симпатии, что весенней темной ночью — сирень, соловьи, россыпь звезд — Елена вылезла из окна спальни в пропитанный росой сад, где и была перехвачена отцом, вовремя предупрежденным одним из верных слуг о готовящемся побеге.

Незадачливого художника вывезли на приготовленной им же бричке в соседнюю губернию и, надавав тумачков, отпустили с Богом, наказав и близко не появляться.

Елену заперли под домашний арест. Она проплакала пару недель, потом несколько успокоилась. Семья переехала в Москву, где, танцуя на многочисленных балах, Елена позабыла постепенно своего художника. Ей нравилось думать, что сердце ее разбито, и она с томным видом принимала страстные ухаживания московских кавалеров.

Замуж ей не хотелось. Не слишком удачный союз ее родителей, хотя и осчастливленный пятью детьми, служил ей плохим примером. Одаренная от природы энергичным характером, редкостной для девушки прямоотой и силой воли, она не видела среди своих молодых поклонников никого, кто вызывал бы хоть каплю уважения какими бы то ни было достоинствами, кроме умения говорить комплименты и изящно скользить по паркету. Сватались к ней многие.

В двадцать три года она, подобно Татьяне Лариной, стала женой генерала — на пару десятков лет ее старше. Была,

как ни странно, ему верна, и даже не вышла снова замуж, когда после пятнадцати счастливых лет семейной жизни генерал скончался — хотя в предложениях руки и сердца не было недостатка.

Елена Петровна родила двоих сыновей. Первенца назвали Петром, в честь деда, а младшего, появившегося на свет через восемь лет после брата — Николенькой. Младший рос способным ребенком, получил блестящее образование и быстро сделал карьеру. Он занимался политической деятельностью, заседал в многочисленных Комитетах и Думах, и даже заигрывал несколько со всякими социалистами, приближая по мере сил крах того мира, об упрочении которого так заботился.

Его старший брат был позором семьи: он весьма успешно проматывал родительское — немалое — состояние в Ницце и Монте-Карло, только изредка появляясь в родных пенатах. В сорок с лишним лет он неожиданно для всех — и для себя в первую очередь — женился и произвел на свет отпрыска, после чего его молодая жена, не выдержав постоянного соперничества с рулеткой, умерла от чахотки. Мальчика Алешу воспитывала Елена Петровна, явно предпочитая проказника и шалунишку чопорным дочкам младшего сына.

В семнадцатом году Елена Петровна была еще жива. В свои восемьдесят с лишним лет она сохранила царственность осанки, насмешливость ума и ясное понимание происходящего, что не помешало ей отвергнуть все просьбы Николая, специально прибывшего из Петербурга за матерью, уехать с ним вместе во Францию.

Накричав друг на друга, они обнялись со слезами, и Николай отправился влачить эмигрантское существование в равнодушной Европе, а Елена Петровна осталась умирать в России...

Пережив царствование четырех императоров, Елена Петровна почти в вековом возрасте скончалась — спустя несколько лет после смерти вождя мирового пролетариата, с которым ей довелось случайно познакомиться в Швейцарии, где будущий вождь, пользуясь всеми благами буржуазной цивилизации, еще только продумывал методы уничтожения буржуазии как класса.

Ее старшего сына давно уже не было в живых — нелегкая судьба занесла его в Аргентину, где он и нашел вечный приют, осененный разлапистой пальмой. Любимчик Алеша заплутал на дорогах войны, постепенно превратившейся в гражданскую, был ранен, но выжил. С борта парохода, отбывавшего в Константинополь, он в последний раз взглянул на берега родины — причал, толпа на набережной, волны в белой пене, кричащие чайки, синяя дымка...

Имение Елены Петровны, как водится, было разорено окрестными крестьянами и долго пребывало в запустении, пока в бывшем господском доме не поселилась коммуна беспризорников, которых пытался перевоспитать для светлого будущего преисполненный энтузиазма местный Макаренко.

После войны переживший беспризорников дом облюбовал Союз художников, устроив там себе творческую дачу. Художники и довершили преобразование имения, добавив к традиционной деве, разбившей об утес урну с водой, и пионеру с горном, оставшемуся от бывших беспризорников, бетонного крокодила, изливающего из пасти родниковую воду.

Парк зарос, пруд не чистили лет тридцать, каменные львы, некогда стоявшие у лодочного причала, исчезли неведомо куда, но по-прежнему обильно цвела по весне сирень, и пели соловьи, и солнце исправно садилось за дальний лесок, и колокол звонил к вечерне на восстановленной церкви, и корабельные сосны все также тянулись вдоль прямой, как стрела, дороги, по которой некогда ехал верхом князь Петр.

Владимир Фрумкин

«...Пусть Бог меня простит»

Приезжал твой племянник. Его молодая жена, на вопрос о профессии, сказала: «Я поэт». Было очень смешно и грустно. Я не сдержался и мягко заметил ей, что даже Пастернак не говорил о себе: я — поэт. Она удивилась.

Из письма Булата Окуджавы

Весной восемьдесят седьмого года Булат приехал в Америку с новой песней. Она начиналась так:

*На Сретенке ночной надежды голос слышен.
Он слаб и одинок, но сладок и возвышен.
Уже который раз он разрывает тьму.
И хочется верить ему...*

В то перестроечное время надеяться хотелось — и не хотелось: а вдруг опять не получится, сорвется, обернется очередной оттепелью — и только?

Булат был готов к такому исходу:

*А если всё не так, и всё как прежде будет,
пусть Бог меня простит, пусть сын меня осудит,
что зря я распахнул напрасные крыла...
Что ж делать? Надежда была.*

Была, да сплыла... Но не сразу — вспыхнула ярко в момент провала путча и после краха СССР. А потом все пошло «не так»,

как и опасался Булат. В его стихах последних лет голос надежды, изначально и постоянно звучащий в его поэзии, затих и осекся.

*Ребята, нас вновь обманули,
опять не туда завели.
Мы только всей грудью вздохнули,
да выдохнуть вновь не смогли.*

*Мы только всей грудью вздохнули
и по сердцу выбрали путь,
и спины едва разогнули,
да надо их снова согнуть...*

Все эти годы, прошедшие с той поры, когда оборвалась его жизнь в военно-морском госпитале Парижа, я задаюсь одним и тем же вопросом: а что бы сказал Булат? Как в его пронизательном, скептическом, ироничном уме преломилось бы то, что происходит в России, в Америке, в мире?

Как отозвались бы наши новые беды и новые надежды в его стихах, песнях, прозе? Ведь так сказать, спеть, написать, как это умел он, не сможет уже никто. Но то, что было сказано, напето и написано Булатом Окуджавой, помнится так, будто все это было — вчера...

Песня на пари

Булат как-то рассказал мне, что первую свою зрелую песню — если не считать «Неистов и упрям», которая появилась, по его словам, «совершенно случайно» в Тбилиси в сорок шестом, написал на спор с приятелем.

Сидел с другом в московской квартире при включенном радио. Играли какой-то советский шлягер середины пятидесятых, и приятель, поморщившись, заметил, что песня, по определению, обречена быть глупой. Булат возразил, предложил пари и написал нечто такое, что друг был посрамлен. Что это была за песня, Булат вспомнить не мог. «Кажется, шуточная...»

Он всегда отчетливо сознавал ту грань, которая отделяла его изящные песенные миниатюры от изделий советской эстрады. «До этого в большом ходу были песни официальные,

«...ПУСТЬ БОГ МЕНЯ ПРОСТИТ»

холодные, в которых не было судьбы, — сказал он однажды. ...Я стал петь о том, что волновало меня...».

Через много лет я внес эти слова в первый американский сборник его песен.

Судьба свела меня с ним в Москве осенью шестьдесят седьмого года. После моего звонка о том, что вместе с молодым музыковедом Борисом Кацем я готовлю для издательства «Музыка» сборник из двадцати пяти его песен с мелодиями и буквенным обозначением гармонии и хотел бы задать ряд вопросов их автору, Булат назначил мне встречу у входа в Центральный Дом Литераторов. По дороге туда я волновался, как мальчик. Булат был приветлив, мягок, идею благословил, согласился помочь, пригласил заходить к нему домой.

И все же — доля первоначального волнения, трепета, робости, смешанной с обожанием, осталась у меня навсегда. Он был для меня существом высшего порядка, непостижимым образом соединившим в себе огромный поэтический дар с безошибочной музыкальной интуицией, которой отмечены и его мелодии, и то, как органично слиты они со словами его песен, и то, как он эти мелодии интонировал, и даже то, как бережно касался гитарных струн своими отнюдь не обученными этому ремеслу пальцами.

Вроде и на «ты» перешли, и знакомство переросло в дружбу, а дистанция преодолевалась туго, миллиметр за миллиметром.

Через год после нашей первой встречи на странице с открывавшей рукопись «Песенкой об открытой двери» редактор «Музыки» размашисто, красным карандашом, начертил многообещающее: «В набор».

До набора, однако, дело так и не дошло. Вместо типографии рукопись попала в письменный стол директора издательства Фортунатова, где пролежала несколько лет, пока я не забрал ее перед своим отъездом в Америку. Там сборничек из двадцати пяти песен разросся в две книги, любовно изданные в восьмидесятом и восемьдесят шестом годах Карлом и Элландеей Проффер, основателями легендарного «Ардиса», на

двух языках с нотами, фотографиями и не публиковавшимися ранее высказываниями поэта.

По словам Булата, который попытался по моей просьбе выяснить, какая инстанция погубила книжку, ее остановил не ЦК, а само издательство, убоявшееся гнева советских песенников — композиторов и поэтов, ревниво и нервно следивших за бурным развитием «магнитиздата». Так и получилось, что первое «музыкальное» издание песен Окуджавы вышло не на родине поэта, а в Польше¹.

«Наверное, можно и так...»

Вот если бы в решении судьбы рукописи участвовал прославленный автор «Катюши», он, я думаю, отнесся бы к ней доброжелательно. Матвей Исаакович Блантер был человеком благородным — говорят, он — чуть ли не единственный из коллег Шостаковича, кто осмелился поддерживать его морально и материально после Постановления ЦК от сорок восьмого года «Об опере Мурадели “Великая дружба”».

К тому же он никак не мог заподозрить в Булате своего соперника по части музыки. «Я слышал, что вы благоволите этим самым «бардам», — сказал мне Матвей Исаакович, когда нас познакомили во время поездки в Англию и Шотландию на Эдинбургский фестиваль в августе шестьдесят пятого года. — Так вот, вам, полагаю, будет небезынтересно узнать, что я пишу цикл песен на слова Окуджавы. Зачем? Объясняю. Мне нравится его поэзия. Она настоящая, это не ремесленные потуги наших текстостиков, из-за которых молодежь отворачивается от советской песни. Песне, как воздух, нужны хорошие слова, которые мы должны брать и у бардов, но — отбрасывая их музыку, потому что — какая же это, простите, музыка? Ведь у этих людей — никакого музыкального образования!

Я, между прочим, специально выбрал те стихи Окуджавы, которые он поет на свои мелодии — пусть увидит, как нужно писать песни!»

¹ *Bulat Okudjava. «20 piosenek na glos i gitare», Krakow, 1970.*

Года через три Булат рассказал мне, что был у Блантера дома, и тот исполнил его, Булата, песни, но с другой музыкой. «Что же ты ему сказал?» — «А я ничего не понял. Промямлил что-то вроде «наверное, можно и так...».

В следующий свой приезд в Москву встречаю Матвея Исааковича во дворе композиторского дома на улице Огарева, которой теперь возвращено название «Газетный переулок».

«Эх, жаль, что не приехали раньше! Вчера вечером у меня была премьера окуджавского цикла. Сам сыграл и спел». — «Ну и как?» — «Полный триумф! Видел в зале Булата, но он не подошел — ревнует!»

Не в пример моему многострадальному сборничку, окуджавский цикл, увенчанный музыкой знаменитого мастера, тут же был опубликован и выпущен на пластинке в исполнении Эдуарда Хилья и эстрадного инструментального ансамбля «Камертон».

Конечно же, «можно и так». Но нужно ли? Искусству — вряд ли. Аналитику искусства — еще как нужно! Матвей Исаакович подкинул мне благодатный, бесценный материал. Пусть земля ему будет пухом. Как явственно высветил он для меня самобытность окуджавской музыки!

Вдруг открылось, что простые напевы поэта бережнее, тоньше и многозначнее соединены со стихом, чем мелодии талантливейшего музыканта-профессионала. Блантер и Хилья втиснули окуджавскую лирику в абсолютно чуждую ей интонационную среду. Стихи зазвучали натянуто и плоско. Исчез подтекст, испарилась окуджавская щемящая ирония, пропало чувство меры.

Там, где у Булата тихий и сдержанный марш («Песенка о ночной Москве»), у Блантера — сентиментально-страстное танго. Грустная и серьезная «Песенка об открытой двери» превратилась в игривый вальс, а печально-ироническая баллада «Старый пиджак» — в бойкий водевильный куплет.

Лишь в одной из пяти песен — «В Барабанном переулке» композитор проявил жанровую чуткость и, как и Булат, выбрал неторопливый лирический марш.

Молодые слушатели, которым я во время своих выступлений — два из них шли в прямом телеэфире — проигрывал в записи обе интерпретации оруджавских стихов, реагировали живо и, как правило, отстаивали авторскую трактовку. Некоторые из высказываний я включил в свою статью для журнала «Советская музыка», которую напечатали только после того, как я согласился, чтобы вслед за ней шла «контрстатья» от редакции. Новелла Матвеева, поверив призыву журнала вступить в полемику, разразилась большим эссе, которое было отвергнуто...

Булат смотрел на развитие событий с усмешкой, сохранял нейтралитет. Он и так был убежден — и совершенно справедливо, что композиторы-профессионалы (кроме одного — Исаака Шварца) искажают интонацию его стиха. Придирчиво прислушивался и к тому, как его песни исполняли другие.

В семьдесят девятом году, когда Булат был гостем Калифорнийского университета в южнокалифорнийском городе Эрвайн (Irvine), Елена Вайль, глава русской программы, проиграла ему запись моего пения. По ее словам, Булат слушал с интересом, но в конце заметил, что интонация не совсем верная, не авторская. Позднее он сам рассказал мне об этом эпизоде, посоветовал поработать над тоном подачи.

Через восемь лет произошел другой эпизод, не совсем для меня понятный. Мы с женой Лидой и дочкой Майей привезли Булата из Оберлина в пригород Вашингтона Маклейн, в дом наших друзей Владимира и Анны Матлиных.

Булат попросил поставить кассету с его песнями в исполнении дуэта — автора этих строк и его девятилетней дочери. Слушал, обняв за плечи Майку, — молча, сосредоточенно, хотя запись эту он уже слышал в Оберлине и в машине по дороге в Вашингтон.

Потом, когда все уселись за стол, хозяин дома включил «Полночный троллейбус». Булат недовольно протянул: «Да не надо, надоело себя слушать». — «А это не вы, это Володя Фрумкин поет...»

«...ПУСТЬ БОГ МЕНЯ ПРОСТИТ»

«Родина, к сожалению, везде...»

Через шесть с половиной лет с момента нашего знакомства, в марте семьдесят четвертого года, мы, получив визы в голландском посольстве, встретились на квартире моих друзей, московских музыковедов Даниила Житомирского и Оксаны Леонтьевой, чтобы попрощаться перед моим отъездом в эмиграцию.

У меня была с собой моя убогая шестиструнная советская гитара, на которой Булат начертил: «Родина, к сожалению, везде...»

Надпись загадочна и многозначна, как и его лирика. Вначале я воспринял ее как грустный намек на то, что человек слишком уж легко привыкает к новым местам и забывает о местах родных. Много позже понял, кажется, истинный смысл булатовского напутствия: от России не скроешься, не убежишь, так и останется она с тобой, в тебе...

Возле строчки Булата красуется полустершаяся от времени надпись, оставленная за несколько часов до этого на прощальной вечеринке в другом московском доме: «Мало есть гитар — из деревообделочной промышленности — на которых бы я не тренькал. Это — одна из них. Галич».

Александр Аркадьевич спел на прощание только что написанную им пронзительную «Когда я вернусь», но для автографа обратился, по контрасту, к языку своих реалистических сатир...

От Житомирских Булат отвез нас с Лидой на своей машине на Ленинградский вокзал. Там и обнялись, на всякий случай, — как в последний раз...

«...Как объять наши жарки от предчувствия разлуки...»

Это было написано много позже, когда Булат получил по почте фотографию: лето девяносто первого, священник Виктор Соколов и я стоим на поляне студенческого городка Норвичского университета в Вермонте.

В обратном адресе на конверте значилось «California». К тому же Булат знал, что о. Виктор получил приход в Свято-Троицком

кафедральном соборе в Сан-Франциско. И хотя по поляне, обрамленной общежитиями, он не раз проходил летом девяностого, почему-то ее не узнал и начал посвященное нам обоим стихотворение так: *«Калифорния в цвету. Белый храм в зеленом парке. / Отчего же в моем сердце эта горечь, эта грусть?»...*

Рукопись стихотворения Булат прислал мне с очередным письмом. *«Мы, затерянные где-то между счастьем и бедой...» — читаю во втором четверостишии. А в конце — «Я не знаю, где страшней и печальней наша драма, / и вернется ли обратно, я не знаю — не спросил».*

Мы не раз говорили о том, где же она все-таки страшней и печальней — «там» или «здесь»... В опубликованном тексте строка зазвучала иначе: «Я не знаю, где точней и страшнее наша драма».

В начале семидесятых, как и многие наши сограждане, то и дело обсуждали вопрос «ехать — не ехать». Булат говорил, что для него отъезд исключен — по разным соображениям. Одно из них — здесь все-таки привычнее: «пусть говно, но свое»...

Так или иначе, в стране, где я пишу эти строки, он словно бы оттаивал. Живо ею интересовался, расспрашивал, писал о ней стихи. Мне кажется, что перед первым свиданием с нами в Америке Булат немного нервничал: в каком мы окажемся виде на чужбине. В первом же письме из Москвы заметил: «Должен тебе сказать, что я остался доволен увиденным сверх ожидания. Ты мне понравился, Лида тоже».

Оба лета — девяностого и девяносто второго года, проведенные Булатом при Русской школе в Вермонте, он пребывал в хорошей форме, был открыт и приветлив, гулял, работал, рассказывал смешные истории, иногда пел, читал стихи и прозу, общался со студентами и преподавателями, охотно приходил на обильные застолья.

Во время одного из них объяснил мне, что можно смело пить подряд водку, коньяк, виски, ром, в общем — все крепкое, либо — только все слабое, но ни в коем случае не смешивать напитки разных уровней крепости. «Булат прав», — авторитетно кивнул Фазиль Искандер, который, как и Булат, дважды был почетным гостем Норвичского университета...

«...ПУСТЬ БОГ МЕНЯ ПРОСТИТ»

Но Россия не отпускала Булата и здесь, тема родины осталась, она шла контрапунктом ко всей этой необычной для него, почти курортной жизни. Разговаривая о тамошних событиях, он тревожился, мрачнел. Состояние подвешенности между счастьем и бедой было для него, по-видимому, перманентным.

Регулярно, как на работу, приходил на просмотры российских теленовостей. Новости были невеселые — неурядицы, перебои, забастовки, протесты, выступления красно-коричневых. «Странно, — горько усмехался Булат. — Отсюда на все это смотреть даже интересно, но вот когда ты там...».

В письмах оттуда у него вырывалось: «Я и раньше знал, что общество наше деградировало, но что до такой степени — не предполагал. Есть отдельные достойно сохранившиеся люди, но что они на громадную толпу?»

Или: «Не хочется ни торопиться, ни участвовать в различных процессах, происходящих в обществе. Хочется тихо, молча, смакуя, не озираясь, не надеясь, не рассчитывая... У нас снег, слабые морозы, неизвестность, бесперспективность, недоброжелательность. Почти вся западная помощь разворовывается. Вчера в совершенно пустом хозяйственном магазине невероятная очередь. Что дают? Дают открывалки для пива. Крик, брань. Все берут по сорок—пятьдесят штук. Стоимость тридцать копеек. „Для чего вам столько?“ „А завтра продам по трешке“. И вся философия».

Перестройка и солонина

Первая наша встреча в Америке произошла в начале апреля семьдесят девятого в Оберлине, в штате Огайо, где мы тогда жили. Перед этим Булат заехал в Анн-Арбор, город в Мичигане, где находилось издательство «Ардис» и жил Иосиф Бродский, приглашенный Профферами преподавать в престижном Мичиганском университете.

Булат жаловался на боль в животе, ел мало и осторожно: «Бродский угостил меня в ресторане какой-то морской живностью — от этого, что ли?..» Через несколько дней, прощаясь,

попросил: «Из того, что будет выходить в Америке по-русски, присылай, пожалуй, только Бродского...»

В то время Оберлинский колледж, кроме Булата, посетили один за другим его коллеги по Союзу писателей — Бакланов, Нагибин и Трифонов. Самым смелым, независимым и открытым был Булат. Он отвечал на вопросы оберлинцев спокойно и прямо, как будто ему не надо было возвращаться в советскую Москву.

На второе место в этом смысле я бы поставил Трифонову. Бакланов был скован, нес идеологически правильную чушь... Потом он объяснял свой испуг тем, что его сопровождала в поездке по Америке Фрида Лурье из иностранной комиссии Союза писателей...

В начале января восьмидесятого я написал Булату в Москву, что мой друг Александр Рутштейн — он до сих пор живет в Оберлине, «часто о тебе вспоминает и все говорит о твоей внутренней свободе и о том, что такой «нормальности» критериев, суждений, оценок редко кто из россиян достигает — даже здесь, в Америке, имея для этого, казалось бы, все внешние условия».

Второй раз Булат попал в Оберлин в восемьдесят седьмом. Много говорили о том, что может выйти из перестроечных попыток Горбачева. Булат был полон надежд и сомнений. Однажды сказал, что украинцы, пожалуй, воспрянут раньше русских.

Вспомнил, что в деревне Калужской области, где он преподавал после войны, чуть ли не единственной пищей ее голодающих жителей — русских и украинцев — была свинина. Свиной забивали осенью. Украинцы превращали их в колбасы и копченые окорока.

Русские рубили на куски и бросали в бочки с соленой водой. «Зачем вам эта солонина, посмотрите, что ваши соседи делают!» — «Да знаем, но — возиться неохота!» «Ну какая тут может быть надежда...», — развел руками Булат...

«Даже Пастернак не говорил о себе: я поэт»

«Понизе, понизе!», — любил повторять Булат, когда мне случалось перед его выступлениями настраивать его гитару,

особенно же когда в Америке перестраивал шестиструнную, которой он не владел, на семиструнную — Булат умел обходиться без средней струны — «ре».

Его преследовал страх, что он не вытянет высоких нот, перед исполнением «Песенки о молодом гусаре» предупредил, что в припеве может «пустить петуха». Я, признаюсь, приложил руку к этой его фобии: настроил однажды инструмент чуть ли не на тон выше. Волновался, спешил, под рукой ни рояля, ни камертона, а абсолютным слухом Бог меня не наградил...

Это насмешливо-дурашливое «пониже, пониже» вспомнилось мне теперь, когда я задумался об удивительном свойстве Булата сбавлять тон всякий раз, как заходила речь о нем и о его песнях.

От комплиментов отмахивался. «Ничего, да, ничего?» — бросал он, исполнив новую вещь, видя, что она понравилась, и затрудняя дальнейшие излияния.

На предсказания долгой жизни его «поющей поэзии» отвечал, что время покажет, оно все расставит на свои места, а в будущее не заглянешь. Но явно оживлялся, когда хвалили прозу, которую считал недооцененной и сильно по этому поводу горевал.

Призывая друзей не опасаться «высокопарных слов», Булат упорно избегал их, когда говорил о своем писательском ремесле. Песни свои «придумывал», и не песни даже, а «песенки». «Сочинил», «написал» прибегал редко. Слова «создал» в его лексиконе не было.

В разговоре о том, почему стал мало писать стихов и песен — дело было в конце шестидесятых, объяснил это просто и, как мне показалось, вызывающе прозаично: израсходовал запас любимых слов, исчерпал их возможности. «Я ведь иду от конкретных слов — «надежда», «женщина», «дорога», «музыка», «труба», «Арбат», — стихотворение вырастает из них, а не из какого-то там высокого и абстрактного «замысла» или «идеи»».

Среди излюбленных слов Булата почетное место занимали слова музыкальные — в его стихах звучат оркестры и

оркестрики, играют скрипки, трубы и радиола, поет кузнецик, гремит «мелодия, как дождь случайный», «заезжий музыкант целуется с трубой», а веселый барабанщик «в руки палочки кленовые берет»...

Увеличенная октава

К музыке Булат относился с почтением и трепетом — как к субстанции таинственной, для простого смертного непостижимой. «Ты знаешь, я тебя боюсь, — выпалил он мне однажды с деланным испугом. — Ты страшный человек: музыку, гостью из небесных сфер, пригвождаешь к бумаге, превращаешь в какие-то черные значки. Кошмар!»

Однажды — дело происходило еще в Москве — Булат заинтересовался, что я думаю о музыке его песен, есть ли в ней хоть какая ни на есть оригинальность или вся она — сплошное подражание, общие места.

Я ответил, что главное в его музыке — не оригинальность, а незаменимость. Именно такие мелодии нужны его стихам, именно они помогают, а не мешают проявиться слову. Но при этом есть у него и напевы своеобразные и далеко не простые, например — в «Новогодней елке» или в «Молитве Франсуа Вийона».

«Но «Молитва»-то, мне кажется, построена довольно стереотипно», — усомнился Булат. «Допустим, но твой „Лесной вальс” — где тут стереотип? Мелодия сложна, изысканна, чего стоит хотя бы абсолютно непредставимый в советской песне головокружительный скачок вниз на остро диссонантную увеличенную октаву, с соль-диеза на соль — между „то ласково, то страстно” и „Что касается меня”. А какая свежая гармоническая модуляция — из минора в мажор — подчеркивает и „просветляет” этот широкий и дерзкий ход!

Но этого мало. Уверен: любой уважающий себя член Союза советских композиторов озвучил бы это стихотворение в ритме вальса. О „Музыканте в лесу под деревом”, который «наигрывает вальс», ты поешь не в кружащемся движении на

три, а на четыре! Представь, что бы сделали с Блантером, если бы он отказался от вальса в своем знаменитом: *„С берёз неслышен, невесом слетает жёлтый лист. Старинный вальс «Осенний сон» играет гармонист“?..»*

«А „До свидания, мальчики“? — продолжал я. — Профессионал, прочитав „Ах, война, что ж ты сделала, подлая...“, встал бы в позу и выдал нечто драматическое и гневное. А вот автор стиха пост его сдержанно и тихо, в характере лирического вальса». — «Погоди, погоди, а мне как раз хотелось, чтобы это звучало сильно, с болью! «Ах, война!» — попытался изобразить Булат. — Но я не смог, кишка тонка, в музыке я не мастер, не профессионал».

«И слава Богу!» — подумал я. И попробовал объяснить, что у поющих поэтов — свой особый жанр, своя ниша в искусстве, что авторское пение сродни авторскому чтению и народной песне.

Поэты, читая или распевая свой стих, не стремятся дублировать и усиливать то, что уже есть в словах, их мелодии идут зачастую «по касательной» к стиху, вносят новые краски, передают внутреннее состояние певца и рожают доверительную атмосферу общения со слушателем.

Пошли примеры из оруджавских песен. «Все, на этом поставим точку, — мягко, но решительно прервал меня Булат. — А то ты все про меня объяснишь, и я окончательно разучусь придумывать песни...»

Я опешил, но тут же вспомнил притчу про сороконожку, которой однажды объяснили механику взаимодействия всех ее ног, после чего она потеряла способность двигаться...

Так и не рассказал я Булату никогда про свой эксперимент с его «Неистов и упрям, гори огонь, гори». Я обошел несколько ленинградских композиторов и просил их предложить музыкальное прочтение этого стиха.

К счастью, никто из них не был знаком с мелодией Булата — неспешного меланхоличного вальса. Мои подопытные все, как один, симпровизировали музыку в ритме героико-драматического марша...

«Делал то, что делается...»

Девятого марта девяносто седьмого года я позвонил Булату в Москву, чтобы сообщить, что в Бостоне умер Феликс Розинер — бывший москвич, автор покорившего Булата романа «Некто Финкельмайер», и попросил сказать о Феликсе несколько слов для «Голоса Америки».

Булат был плох, говорил медленно, прерывисто, с пугающими болезненными всхлипами эмфиземы легких... Я не раз приставал к нему с вопросом, бросил ли он курить. «Курю меньше», — обычно слышал в ответ... Но отозваться о Феликсе согласился, не задумываясь.

«Как и во всяком большом писателе, — начал Булат, — я в нем ценю, прежде всего, непохожесть. Он писал, как всякий одаренный человек, — по-своему видя мир. Это очень ценно в литературе... Он жил как настоящий творческий работник, не занимаясь особенно изучением своего творческого «я»... («Да это ведь он и о самом себе говорит!» — вдруг почувдилось мне.) Делал то, что делается, писал то, что пишется. Никого не учил, никого не пытался перевоспитать...»

Я очень мало с ним общался, но мне надолго запало в душу общение с ним, его характер, его мягкость. Я, между прочим, в Вермонте с ним общался. В нем очень много обаяния и скромности, — сбился вдруг Булат на настоящее время, избежав бесповоротного «было». — Вот это поразительно совершенно, в наш разнузданный век, да...»

Это горькое «да», сказанное через силу, сиплое, мучительное, но певучее, как все, что произносил Булат, — последнее, что я от него услышал.

Девятого мая я позвонил ему, чтобы поздравить с днем рождения. Но он уже был в Европе, где через месяц его ждал Париж — последняя точка его жизненного пути...

Михаил Ардов

Россыпь

Статьи разных лет

Московской патриархии?.. Мощи царственных мучеников?.. Без надобности!

Четырнадцатого февраля две тысячи одиннадцатого года газета «Московский комсомолец» напечатала статью следователя Владимира Соловьева, который вел «дело об убийстве Царской Семьи». Автор жалуется на то обстоятельство, что Московская Патриархия не желает принимать участия в решении дальнейшей участи обретенных мощей, несмотря на то, что специалисты из нескольких стран подтверждали и продолжают подтверждать подлинность останков. Вот несколько красноречивых цитат из той публикации:

«Архиепископу Екатеринбургскому и Верхотурскому Викентию не нравится, что на его территории находится место, где были обнаружены тела Царской Семьи. Он добился того, чтобы на месте исторического мемориала обустроили православное кладбище. Его поддержали местные власти. (...) Ни один из священников не выступил в защиту святого места, и только суд остановил архиепископа. (...)

Я недавно побывал в Екатеринбурге. Поехал к «мостику из шпал». Запустение, снег по пояс, строительный мусор рядом с мемориалом. Уральцы сравнивают место, где пытались скрыть и уничтожить тела членов Царской Семьи, с Голгофой.

Известен путь, по которому чекисты везли тела убитых. Раньше по этому пути проходили крестные ходы. К приезду патриарха Кирилла в апреле две тысячи десятого года исто-

рию «подправили». Дорога уже не проходит мимо «мостика из шпал», ее спрямили. Она уже никакого отношения не имеет к трагическому пути, описанному следователем Соколовым...

Патриарх Кирилл на Ганиной Яме выступил с заявлением, что тела членов Царской Семьи якобы были сожжены у шахты как «кости царя Едомского». Такое заявление ставит крест на дальнейшей работе церковной комиссии и на неопределенный срок отодвигает рассмотрение вопроса о признании останков.»

Особую озабоченность вызывает у Соловьева судьба мощей Наследника Цесаревича и Великой Княжны Марии, которые были обретены в две тысячи седьмом году и сейчас пребывают в каком-то сейфе.

«Встал вопрос: как хоронить Алексея и Марию? Отправить останки Наследника Императора на забытое Богом муниципальное кладбище и похоронить среди не востребованных трупов? Без Церкви вопрос не решить, а Церковь решать не хочет. Прецедент есть. Несмотря на государственный характер захоронения, Императора Николая II оптели как «бомжа». Что ж говорить о Его несчастных детях? Не могу достучаться до окаменевших сердец епископов и вымолить у них хотя бы сочувствия к погибшим Царским Детям — жертвам Гражданской войны.»

Вполне разделяю чувства следователя Соловьева. Известно, что многие люди — и не только функционеры из Московской Патриархии — до сей поры не признают подлинности найденных под Екатеринбургом мощей.

Я — настоятель храма во имя Царя Николая II, и у меня есть много книг об Августейших Мучениках. В последние годы мое собрание пополнилось двумя весьма солидными публикациями¹. У того, кто познакомится с этими изданиями, не останется никаких сомнений в том, что мощи — подлинные.

¹ И. Ф. Плотников «Гибель Царской семьи». Екатеринбург-Москва, 2003. Наталия Розанова «Царственные Страстотерпцы. Посмертная судьба». Москва, 2008.

Плотников сообщает:

«Спецорганам и верхам уральского и екатеринбургского партийного актива место захоронения было известно всегда».

Автор рассказывает о том, как тогдашний председатель свердловского горисполкома Парамонов показал Владимиру Маяковскому место, где были зарыты мощи.

У этого несчастного поэта среди прочих позорных стихов есть одно под названием «Император». Вот фрагмент из этого опуса:

*Здесь кедр
топором перетроган,
зарубки
под корень коры,
у корня,
под кедром
дорога,
а в ней
император зарыт.*

Существует письменное свидетельство Парамонова:

«Вне всякого сомнения, я единственный человек, знающий, где сгнили останки последнего русского царя Николая II. Яков (Юровский) показал мне это место в двадцатом году. И я сделал ножом зарубки на корнях березы, чтобы отметка сохранилась и в том случае, если березу срубят. В двадцать восьмом году благодаря этим знакам я нашел это место и показал его Владимиру Маяковскому, что он и описал в своем стихотворении «Император»¹.

Но вернемся к неумолкающим спорам о подлинности мощей — мое мнение сродни одному из рассуждений Пушкина. Он просто и убедительно доказывал, что «Слово о полку Игореве» — не фальшивка, а именно древний текст. Идею первейшего поэта блистательно развил и подтвердил великий ученый нашего времени — Андрей Анатольевич Зализняк в своей книге ««Слово о полку Игореве. Взгляд лингвиста».

¹ Там же, стр. 320.

Пушкин писал:

«Некоторые писатели усомнились в подлинности древнего памятника нашей поэзии и возбудили жаркие возражения. Счастливая подделка может ввести в заблуждение людей незнающих, но не может укрыться от взоров истинного знатока. <...> Другого доказательства нет, как слова самого песнотворца. Подлинность же самой песни доказывается духом древности, под который невозможно подделаться. Кто из наших писателей в XVIII веке мог иметь на то довольно таланта? Карамзин? Но Карамзин не поэт. Державин? Но Державин не знал русского языка, не только языка «Песни о Полку Игореве». Прочие не имели все вместе столько поэзии, сколько находится оной в плаче Ярославны, в описании битвы и бегства.

Кому пришло бы в голову взять в предмет песни темный поход неизвестного князя? Кто с таким искусством мог бы затмить некоторые места из своей песни словами, открытыми впоследствии в старых летописях или отысканными в других славянских наречиях, где еще сохранились они во всей свежести употребления? Это предполагало бы знание всех наречий славянских. Положим, он ими бы обладал, неужто такая смесь естественна?»

А вот мой главный аргумент в споре о мощах:

— Невероятно трудно, но возможно подобрать несколько скелетов, соответствующих Царственным Мучеником по возрасту, полу, времени смерти и даже вставить им в зубы платиновые пломбы. Но это была бы «подделка века» — чтобы такое осуществить, нужно было бы затратить огромные деньги. И вот я хочу спросить до сей поры сомневающихся в подлинности мощей: кто эти деньги мог заплатить и, главное, какова была цель этой «подделки»?

Ну, а теперь вернемся к публикации «МК». Я сожалею, что не имею чести быть знакомым со следователем Соловьевым. Он представляется мне человеком достойнейшим, но несколько наивным и, главное, от Церкви далеким. Он не учитывает того, что Московская Патриархия в прошлом — детище Сталина, «структура», которая десятилетиями служила

безбожному режиму, и, подобно своим кремлевским начальникам, публично именовала Новомучеников и Исповедников Российских — «политическими преступниками».

Но вот настали девяностые годы прошлого века, и «компетентные органы» приняли важное решение — подчинить себе Русскую Зарубежную Церковь. Притом было ясно: эта цель недостижима до тех пор, пока в Москве не признают святость убитых безбожниками христиан и в первую очередь — Августейшего Семейства. Без такого признания значительная часть наивных русских эмигрантов «под омофор Патриарха» не пошла бы.

Желание поработить Зарубежную Церковь — вот главная причина того, что в двухтысячном году на «Юбилейном архиерейском соборе Русской Православной Церкви» Царственные Мученики были причислены к лику святых. Но это было осуществлено не без некоторых настораживающих странностей.

Во-первых, не были прославлены «верные слуги», те, кого вместе с Семейством расстреляли в подвале Ипатьевского дома — Евгений Сергеевич Боткин, Анна Степановна Демидова, Иван Михайлович Харитонов, Алексей Егорович Трупп.

Во-вторых, храм, который построили на месте бессудной казни, освятили не во имя тех, кого там убили, а в память «Всех Святых в России просиявших».

Как и планировалось в Москве, после двухтысячного года процесс ликвидации Зарубежной Церкви заметно ускорился и был успешно завершен в мае две тысячи седьмого года. И можно с уверенностью утверждать: с тех пор интерес к Самим Царственным Мученикам и к Их мощам в Патриархии заметно поубавился, а быть может, и вовсе сошел на нет.

В тысяча девятьсот девяносто третьем году один из самых влиятельных архиереев, викарий Патриарха в частном разговоре произнес такую фразу:

— Мы не можем прославить царя Николая — на нас ополчатся и коммунисты, и демократы.

Как знаем, нашей страной управляют не собственно коммунисты, а их последыши, если так можно выразиться, коммуноиды. Но притом все они прикидываются истинными демократами. И, разумеется, такие люди никогда не позволят

Патриархии воздать должное Царственным Мученикам. Вот этого не учитывает следователь Соловьев.

Представим себе: завтра Патриархия признает подлинность мощей. Это означает, что послезавтра надо будет их торжественно перезахоронить... А где?.. В Москве? В Архангельском соборе? Да нынешние хозяева Кремля и на полдня занести их туда не позволят...

Ведь если что-нибудь подобное произойдет, вновь и вновь придется вспомнить: кто приказал Царя и Его Семью убить... Зазвучат проклятия Ленину и его сообщникам, да и всему преступному режиму, люди опять станут требовать суда над преступной организацией ВКП(б)-КПСС... А власть имущим это не по вкусу.

Что же касается беспокойства о судьбе останков Наследника Цесаревича и Великой Княжны Марии, то тут для коммуноидов и их приспешников из Патриархии особенной проблемы нет. Ведь и главный убийца Царственных Мучеников — Ленин тоже не погребен, так и гниет в своем бункере...

Вопль слабодушных

Среди тех, кто в первые послевоенные годы попался на удочку сталинской пропаганды и поехал на жительство в Совдепию — читай: в ГУЛаг, оказались не только тысячи наивных русских. Во Франции, например, среди «возвращенцев» было довольно много армян.

И вот в свое время рассказывали об одном состоятельном армянине, который перевел свои деньги на «историческую родину», сел на советский корабль и прибыл на черноморское побережье Кавказа. Он доехал до Еревана, поселился в гостинице, там переночевал и ясным солнечным утром вышел на прогулку по нарядному и зеленому городу...

Он шел, опьяненный встречей с родной землей, озирался по сторонам и вовсе не глядел себе под ноги... И, конечно же, не обратил внимания на то, что на его пути оказался открытый канализационный люк... Последовало падение, ушибы... Прохожие извлекли беднягу из железного колодца, и он, по-

раненный, измазанный и оскорбленный в лучших чувствах, произнес:

— Как же такое возможно?.. Вот я до сих пор жил во Франции. Там у нас ничего подобного произойти не может... Если на каком-то месте есть угроза для человека, для его здоровья, непременно ставят ограждение с такими маленькими красными флажками...

На что один из прохожих отвечал:

— А когда ты в Марселе садился на советский пароход, ты не заметил, что на нем был красный флаг? И не маленький...

Эта поучительная история припомнилась мне, когда я листал «Вестник Германской епархии Русской Православной Церкви за границей»¹. Там я обнаружил то, что можно смело назвать воплем, криком души... В данном случае целых двух душ — епископа Штутгартского Агапита и протоиерея Николая Артемова — секретаря Германской епархии. Они обратились «к участникам конференции «Научный православный взгляд на ложные исторические учения»².

Авторы опубликованного в «Вестнике» послания гласно призывают прекратить в России «реабилитацию сталинщины». А для того, чтобы легче и проще было бороться с «мифами и подделками коммунистических времен», открыть архивы, в которых хранятся документы советских лет.

Трудно не согласиться с пафосом этого письма, с такими, например, пассажами:

«Бесчувственность воспитывается в человеке, когда он живет на улице с именем отъявленного убийцы и ненавистника России. Что значит спор о возврате «железного Феликса» туда, где находится памятный Соловецкий камень?» И так далее и тому прочее....

Но притом удивляет адресат никому неведомая конференция, на которую, как мы понимаем, съехались два-три десятка либеральных историков. А между тем проблема, о которой пишут авторы, весьма и весьма острая, и касается она каждо-

¹ № 6, 2010.

² Москва, 14–16 октября 2010 г.

го из нас. Невольно возникает вопрос: отчего бы не адресовать этот эмоциональный текст власть имущим? То бишь президенту, премьеру, и, конечно же, Патриарху Кириллу...

Но германские «храбрецы» — епископ и протоиерей — смотрят на вещи реально. Тут явно просматривается известнейший принцип — и невинность соблужности, и капитал приобрести.

Невозможно себе представить, чтобы авторы письма, ведомые беспринципным архиепископом Марком на позорное объединение с «Московским священноначалием», не знали и не ведали, что такое Патриархия. То есть кто именно эту «структуру» в тысяча девятьсот сорок третьем году основал, с какими целями и каким образом впоследствии использовал...

В отличие от выше помянутого наивного армянина авторы письма, присоединяясь в две тысячи седьмом году к Московской Патриархии, не могли не понимать, что красный флаг в течении десятилетий незримо реял, да и по сею пору реет и над зданием в Чистом переулке, и над Даниловским монастырем.

Весьма показательно, что епископ и протоиерей не осмелились даже упомянуть в своем «скорбном послании» о том, что среди их теперешних собратьев — российских клириков — есть множество людей искренне Сталина почитающих и даже громогласно требующих прославить его во святые.

Я бы посоветовал авторам душещипательной публикации в «Вестнике Германской епархии» время от времени заглядывать в Интернет, а там смотреть вот какой сюжет: человек, которого они не так давно признали «Великим Господином и Отцом», в присутствии президента недалеке от «мавзолея Ленина» освящает надвратный образ Спасителя.

А на самом верху, над той иконой сияет кровавым светом масонско-большевицкая звезда.

Дашь новую триаду!

Некоторое время тому назад мое особенное внимание привлекло одно из высказываний Патриарха Кирилла, оно прозвучало на встрече с группой депутатов Государственной Думы.

«В политическом пространстве страны не должно остаться партий, которые не разделяют базисные ценности. Мы должны договориться о корпусе этих ценностей и сказать: „Если в политическую программу той или иной партии включается несогласие с этими ценностями, эта политическая сила не может быть в нашем обществе — она опасна для безопасности, целостности, будущности страны.”»

Оставим в стороне некоторую косноязычность оратора, и обратимся к смыслу этих слов. Понять, о чем шла речь двадцать седьмого декабря, не так уже и сложно. Вспомним старую — императорскую Россию. Там «корпус базисных ценностей» был невелик, это — знаменитая триада: *«Православие, самодержавие, народность»*.

И следует заметить, до поры, до времени подавляющее большинство населения «разделяло эти ценности», русские воины шли в бой «за Веру, Царя и Отечество»...

А теперь обратимся к нашей печальной действительности и поразмыслим: какую триаду уместно было бы предложить «кремлевским политехнологам» и их патриархийным подпевалам... Что-нибудь в таком роде: *«Православие, олигархия, международность»*.

Но тут требуются оговорки. С точки зрения истинного Православия Московская Патриархия — учреждение не каноничное, она исповедует «всеересь экуменизма», признает законным «папистский — Григорианский календарь» и так далее, и тому прочее... Так что уместнее было бы первым поставить слово — *«Псевдоправославие»*.

Что же касается *«Международности»*, то теперь без нее — никуда. По той простой причине, что и светские «олигархи» и те, кого я именую «олигархиреями», держат свои накопления вне пределов нашей страны.

Не «плененная», а учрежденная, и не «церковь», а структура

«Казалось, как будто в доме происходило мытье полов, и сюда на время нагромоздили всю мебель. На одном столе сто-

ял даже сломанный стул и, рядом с ним, часы с остановившимся маятником, к которому паук уже приладил паутину. Тут же стоял прислоненный боком к стене шкаф с старинным серебром, графинчиками и китайским фарфором.

На бюро, выложенном перламутровой мозаикой, которая местами уже выпала и оставила после себя одни желтенькие желобки, наполненные клеем, лежало множество всякой всячины: куча исписанных мелко бумажек, накрытых мраморным позеленевшим прессом с яичком наверху, какая-то старинная книга в кожаном переплете с красным обрезом, лимон весь высохший, ростом не более лесного ореха, отломанная ручка кресел, рюмка с какой-то жидкостью и тремя мухами, накрытая письмом, кусочек сургучика, кусочек где-то поднятой тряпки, два пера, запачканные чернилами, высохшие как в чахотке; зубочистка, совершенно пожелтевшая, которую хозяин, может быть, ковырял в зубах своих еще до нашествия на Москву французов».

Это место из «Мертвых душ» — описание комнаты Плюшкина — пришло мне на ум во время чтения толстенной книги — «Архимандрит Августин (Никитин). Церковь плененная. Митрополит Никодим (1929—1978) и его эпоха в воспоминаниях современников»¹.

На первый взгляд том впечатляет. В именном указателе восемьсот пятьдесят одна персона, автор приводит шестьсот семьдесят цитат, подчас весьма пространных. Но значительная часть этих выписок к личности митрополита Никодима и даже к его современникам касательства не имеет².

Собственные воспоминания отца архимандрита занимают в книге мало места. Вот прием, к которому автор посто-

¹ СПб.: Изд-во С.-Петербур. ун-та, 2008. — 676 с

² Например, такие источники: «Энциклопедия Третьего Рейха. М., 1999.», «Шаблинская О. «Сын Сталина — это советская железная маска», Аргументы и факты. 2005. № 49.», «СССР — Германия 1939—1941. Нью-Йорк, 1989.», «Крокодил. 1930. № 12.», «Михалков Н. Может, и я агент КГБ?, Вечерний Петербург, 1992, № 108», «Успенский Э. Чебурашка. Хождение по мукам. Дело. 2005, № 36.», «Из писем В. И. Ленина к Инессе Арманд. Большевик. 1949. № 1.», «Собчак А. Хождение во власть. М., 1991.»...

янно прибегает. Начинается главка под названием «Комарово» — в этом поселке у митрополита Никодима была дача. И нам сообщают:

«Летом владыка иногда отправлялся на Щучье озеро. По дороге старомодный ЗИМ, набитый иподиаконами, останавливался у ограды „литераторского кладбища“. Владыка шел к могиле Ахматовой и молча стоял несколько минут, размышляя о нелегкой судьбе Анны Андреевны.

Ее муж — Николай Гумилев, был арестован третьего августа тысяча девятьсот двадцать первого года по обвинению в контрреволюционной деятельности и в августе того же года расстрелян».

Далее приводятся известные теперь подробности казни Гумилева, затем стихи из поэтического сборника «Улыбка Чека» и отрицательные отзывы о расстрелянном поэте, чье имя долгие годы было под запретом. К этому присовокупляется история семьи Николая Степановича.

Затем автор переходит к сыну Ахматовой и Гумилева, а заодно сообщает читателю:

«Но далеко не всем известно, что у поэта был еще один, младший сын — от актрисы театра Мейерхольда Ольги Высотской. Оресту Николаевичу (1913—1992) в конце тридцатых годов довелось пережить тюремное заключение».

После сего упоминаются и цитируются «вымученные вирши», которые Ахматова принуждена была сочинить, дабы вызволить сына из ГУЛага.

За сим — пространная цитата из воспоминаний литератора Льва Друскина, там описывается судьба комаровской дачи Ахматовой и рассказывается о ее надгробии и могиле.

Тут архимандрит возвращается к судьбе Льва Гумилева, описывает его выступления в актовом зале Духовной академии и на телевидении — в прямом эфире.

Сообщается о смерти Льва Николаевича в девяносто втором году и его отпевании, перечисляются священнослужители, которые при сем присутствовали... Следует цитата из интервью протоиерея Димитрия Амбарцумова — он был духовником Гумилева.

И, наконец, читатель узнает, что в Казани и в Алма-Ате стоят памятники сыну великой поэтессы...

А завершается главка «Комарово» таким пассажем:

«... Серебряный век русской поэзии закончился со смертью Ахматовой в тысяча девятьсот шестьдесят пятом году, и владыка Никодим мог размышлять об этом у ее могилы».

Приведенная фраза содержит в себе сенсационное открытие: до сих пор мы все считали, что поэтесса умерла пятого марта тысяча девятьсот шестьдесят шестого года.

Я обнаружил в этой книге¹ и еще одно открытие. Архимандрит Августин утверждает, будто известный афоризм, приводимый Евангелистом Матфеем, принадлежит не Господу Иисусу Христу, а Апостолу Павлу:

«Затрагивая тему отношений к властям, владыка часто цитировал слова апостола Павла: „Будьте мудры, как змии, и просты, как голуби“ (Мф. 10,16)».

Читатель, возблагодари судьбу за то, что покойный митрополит ездил именно на Щучье озеро! Коли «старомодный ЗИМ, набитый иподиаконами» возил бы владыку на Чудское озеро, мы бы обогатились сведениями из жития Святого князя Александра Невского, узнали бы историю Ливонского ордена и ознакомились бы с художественным описанием Ледового побоища...

Архимандрит Августин искренне любит и почитает митрополита Никодима. В своей книге он цитирует мнения «современников», которые подтверждают его точку зрения. Он, например, делает множество выписок из книги архиепископа Василия (Кривошеина)², но, разумеется, не приводит такого важного свидетельства:

«...можно отметить ряд серьезных вопросов, из-за которых у нас с владыкой Никодимом возникали трудности. В-первых, его советофильские высказывания. Все эти восхваления „Великой Октябрьской“ нас, конечно, глубоко огорчали и как таковые, и потому, что наносили ущерб доброму имени Русской Православной Церкви и являлись препятствием к

¹ Стр. 268 — М. А.

² «Воспоминания». Нижний Новгород, 1998. С. 328.

воссоединению с ней отколовшихся от нее частей. То же можно сказать и о так называемой миротворческой деятельности Московской Патриархии, до мелочей следующей за всеми изгибами советской внешней политики».

Несколько выше Владыка Василий пишет об усвоенной митрополитом Никодимом «советской привычке говорить ложь без всякой к тому необходимости, даже не замечая того и не помня. Я не говорю здесь о публичных высказываниях, не соответствующих действительности, их можно если не оправдать, то по-человечески понять и извинить».

Ну, а теперь самая существенная из моих претензий к книге архимандрита Августина: тот, кто знает историю, не может согласиться с самим названием этого труда. Как известно, четвертого сентября сорок третьего года Сталин вызвал к себе трех митрополитов, а затем в присутствии Молотова и полковника НКВД Карпова приказал им «проявить большевистские темпы», дабы немедленно созвать «собор» и «избрать патриарха». Приказание вождя было в точности исполнено — через четыре дня «мероприятие» состоялось...

Но с церковной точки зрения это было противозаконно, поскольку совершенно игнорировалось определение Поместного собора Российской Православной Церкви¹.

Спешно учрежденная по приказу тирана и убийцы миллионов людей организация не может именоваться «Церковью», тут куда уместнее слово «структура». Кстати сказать, покойный Патриарх Алексий II (Ридигер) именно так и выражался, когда защищал своего предшественника Сергия (Страгородского):

— Надо было спасать структуру!

Название, которое автор дал своей книге, не только неуместно, но и кощунственно, поскольку в большевистские времена в стране была по-настоящему «плененная Церковь» — Катакомбная. Все епископы, почти все клирики и множество мирян, принадлежавших к ней, находились именно в плену, то бишь в ГУЛаге. И это было в те самые годы, когда митрополит Никодим, разъезжая по разным странам, «восхвалял Ве-

¹ 1917–1918 гг. «О порядке избрания Святейшего Патриарха».

ликую Октябрьскую Революцию» и осуществлял «миротворческую деятельность, до мелочей следуя за всеми изгибами советской внешней политики».

Архимандрит Августин — графоман, и книга его гроша ломаного не стоит. Удивляет лишь то обстоятельство, что такую претенциозную и безграмотную чушь выпускает в свет, казалось бы, солидное издательство Санкт-Петербургского университета.

А в заключение я хочу привести рассказ моего покойного родителя. Он говорил, что в довоенные времена в Москве существовала организация под названием «Рабис», это был профессиональный союз «работников искусств». Одним из главных деятелей там был некто по фамилии Вальдман.

Мой отец рассказывал, как на одном многлюдном собрании этот человек хвастался своими «революционными заслугами»... И вот из зала послышался голос:

— А что мы слушаем этого Вальдмана? Какие у него могут быть заслуги?.. Ведь до революции он был тапером в публичном доме, ему пьяные купцы горчицей морду мазали!..

На это оратор отвечал:

— Да, мне морду мазали, но я все равно был бунтарь!

Вот таким в кавычках «бунтарем» был покойный митрополит Никодим, да и почти все прочие «сергианские» архиереи.

Немного истории

Начиная с шестидесятых годов прошлого века, я иногда общался с людьми, которые после Второй мировой войны приехали в Совдепию из эмиграции. Прежде всего мне вспоминается маститый протоиерей Борис Старк и его жена Наталия Дмитриевна, затем участник «французского сопротивления» Игорь Александрович Кривошеин и его сын Никита, а еще — композитор Андрей Волконский...

Я уже не припомню, кто именно рассказал мне о том, как встречала их «историческая родина». Для людей, принявших «советское гражданство», был во Франции сформирован целый поезд. Они туда погрузились со скарбом, и почти каждый вез собрание книг...

Как только они пересекли границу СССР, поезд был остановлен, а на соседнем, параллельном пути стоял состав из теплушечных вагонов. Тут их всех арестовали и стали пересаживать в теплушки... А книги, которые они везли с собою, свалили «под насыпь, в ров некошенный», затем облили бензином и подожгли...

Несчастливые репатрианты пытались протестовать:

— Ну, хорошо — нас вы арестовываете... Но зачем же вы уничтожаете книги?

Это же все — редкие издания... Мы везли их в дар своей родине...

На это доблестные чекисты отвечали:

— Так тут же больше половины на иностранных языках... А вдруг там есть что-нибудь антисоветское?

А вот рассказ моего друга — профессора Владимира Андреевича Успенского:

— В шестьдесят седьмом году издательство «Мир» выпустило сборник «Математика в современном мире». Я принимал участие в этом издании и поэтому довольно часто встречался с ведущим его издательским редактором, каковым был Фесенко.

Края передних зубов у него были выщерблены — как он объяснил, вследствие ударов, каковые наносил ему следователь. Дело в том, что он был одним из тех, кто подвергся массовой послевоенной репатриации из Харбина на «историческую родину» с последующей неизбежной репрессией.

Мне Фесенко рассказывал, что, как только пассажирские вагоны пересекали советскую границу, репатриантов перегружали в вагоны товарные и развозили по лагерям. Такой судьбы, по его словам, избежали лишь единицы — одну из таких «единиц» я знал — это была Наталья Иосифовна Ильина, ко времени моего с нею знакомства уже бывшая известной советской писательницей.

Процесс репатриации из Китая если не сотен, то тысяч человек не был мгновенным, и я усомнился в достоверности рассказа. «Если, как вы утверждаете, репатриация продолжалась несколько месяцев, — сказал я своему собеседнику, — то не может быть, чтобы сведения о том, что происходит с репатриантами по пересечении ими границы, не просочились

бы в западную прессу, а оттуда в Китай. А тогда репатриация должна была бы прекратиться».

Фесенко мне возразил: «А сведения и просочились, и в Харбине они стали известны. Но поскольку западная пресса описывала все, что было в действительности, то русские харбинцы посчитали эту информацию злостной клеветой. Они допускали, что пограничные власти могли по тем или иным причинам арестовать отдельных репатриантов, но чтобы почти всех — это не вмещалось в их способность восприятия и потому воспринималось как заведомая ложь, которой нельзя верить».

А не сменить ли памятник на Триумфальной?

Площадь в Москве, которая находится на пересечении Садового кольца и Тверской улицы, издавна именовалась Триумфальной. В XVIII веке здесь устанавливались арки в честь въезжающих в город монархов. Первая — в 1721 году по случаю прибытия Петра I, а последняя в 1797, когда в Москву для коронации приехал Император Павел Петрович.

В тысяча девятьсот тридцать пятом году по распоряжению Сталина площадь стала называться «Маяковской», дабы увековечить память «лучшего и талантливейшего поэта советской эпохи».

В июле тысяча девятьсот пятьдесят восьмого года там был открыт памятник этому «горлану-главарю», а на постаменте запечатлены такие его строки:

*И я,
как весну человечества,
рождённую
в трудах и в бою,
пою
мое отечество,
республику мою!*

В конце пятидесятых пространство перед памятником стало местом встреч и публичных выступлений молодежи. Там читались запрещенные стихи, звучали смелые политические речи...

Среди активных участников тогдашней «Маяковки» были те, кто впоследствии стали именоваться диссидентами — Владимир Буковский, Юрий Галансков, Владимир Осипов и многие другие.

КГБ, милиция и дружинники разгоняли и арестовывали молодых людей, и вот уже в начале шестидесятых «незаконные сборища» прекратились.

Однако же через полвека, в наши времена, когда Москвой управлял Юрий Лужков, конфликты между милицией и теми, кого можно назвать «новыми диссидентами», на Триумфальной возобновились.

Как видим, баталии на этом месте время от времени возникают, а посему мне представляется разумным убрать с площади памятник Маяковскому. Ведь того «отечества», которое самозабвенно «пел» этот будущий самоубийца, более не существует. А на самой Триумфальной и возле нее в новейшие времена возникло великое множество «кабаков»...

И вот я думаю: хорошо бы там соорудить монумент другому русскому поэту — Петру Васильевичу Шумахеру¹. А на постаменте начертать такие его строки:

— Тятка! Эвон что народу
Собралось у кабака...
Ждут каку-то всё слободу...
Тятка, кто она така?
— Цыц! Никшни! Пущай гуторют,
Наше дело — сторона...
Как возьмут тебя, да вспорют,
Так узнаешь, кто она!

Ах, если бы не было горьких!

Неподалеку от моего дома существует базар, и в летние месяцы там продаются очень вкусные огурцы. Привозит их огородник из Подмосковья, а над корзиной, где лежит его товар, всегда красуется выразительная надпись:

ГОРЬКИХ НЕТ!

¹ 1817–1891 гг.

Я часто вижу эти два слова... И однажды меня осенило... Господи, подумал я, какой прекрасной могла бы быть история России, кабы у нас не было Горьких... И Горьких, и Блоков, и Брюсовых, и Маяковских... А там и Писаревых, и Чернышевских, и Добролюбовых, и Белинских... Да и Пестелей, и Рылеевых, и Каховских...

Я пишу это с горечью и болью. Моя родная бабка — Антонина Васильевна Нарбекова (мать моей родительницы) жила во Владимире. Она смолоду состояла в партии «эсеров», была одним из руководителей местной ячейки.

В тридцать седьмом ее, разумеется, арестовали, и она получила десять лет. Через семь лет ее «сактировали» — выпустили из лагеря, по причине запущенной болезни (рак желудка).

Умерла она через несколько месяцев.

Я когда-то писал о трагической судьбе деда и бабки, и теперь хочу привести цитату из своей книги «Все к лучшему»:

«Когда я начинаю думать о русских интеллигентах, о моих сродниках и всех прочих, меня охватывает и жалость, и злость... Несчастные недоумки и нравственные уроды! Вы не только погубили свою великую страну, но и сами погибли, да к тому же принесли страдания и смерть простым людям — тем, кого так стремились облагодетельствовать».

Марина Цветаева

О новой русской детской книге¹

Что в России решительно хорошо — это детские книжки, ибо говорю о книжках дошкольного возраста, тоненьких тетрадочках в пятнадцать—тридцать страниц. Ряд неоспоримых качеств. Прежде всего, почти исключительно стихи, то есть, вещи даны на языке, детьми не только любимом, но творимом, — их родном. Детей без собственных стихов — нет, как нет без песен — народов.

Второе качество — без которого первое, то есть сами стихи — порок — качество самих стихов: превосходное. Читаешь, восхищаешься и: кто это пишет? Никто. Безымянные. Имя, ничего не говорящее. Пишет высокая культура стиха. Так в моем детстве и поэты для детей не писали.

Третье: сама тема этих книг: реальная, в противоположность так долго и еще так недавно господствовавшей в русской дошкольной литературе лжефантастике, всем этим феям, гномам, цветочкам и мотыльчкам, несоответствующим ни народности (первые), ни природе (вторые).

Четвертое: разгрузка от удушливо-слащавого быта детской, с его мамами, нянями, барашками, ангелочками, малютками, опять-таки никакой реальности несоответствующими. Сравни довоенный младенческий журнал «Малютка» и раннее детство Багрова-внука, тех «мам» — и ту мать, а если и соответствующими — то к прискорбию.

¹ Из архива журнала «ГРАНИ» — Ред.

Есть и в новой детской литературе бараны, и пасутся они на пастбищах Туркестана, и шерсть у них клочьями, а не завитая у парикмахера. Ребенок игрушечного барашка превращает в барана (жизнь), зачем же детям жизнь (природу) превращать в игрушку?

Ведь все дело — в живом баране. А при баране — пастух, а под бараном — трава, а над бараном — небо. И пастух так-то одет, и такую-то песнь, на такой-то дудке — и из какого дерева, и сколько дырочек — сказано играет, и трава именно трава данного географического края, а не барашкина «травка», и небо — а небо — то небо, которого над лужайками моих детских книжек не было.

Начнем наугад. По сжатости места стихи приходится давать в строчку.

«А у вас живут ребята / Ёродские тесновато, / Ваши важные дома / Как железная тюрьма».

И, дальше.

«Не гордитесь, ленинградцы, / Очень глупо зазнаваться, / Все привозят поезда / Из деревни в города. / На полях растёт рубаха, / Лен спрядёт на прялке пряжа, / Мы без фабрик и станков / Понаткём себе холстов!»

И в ответ на заносчивое утверждение города: *«А у вас в деревне нет / Ни пирожных ни конфет».*

«Да, тирожных не найдешь. / Но зато мы сеем рожь. / В землю падает зерно, / всходит колосом оно, / Зрелый колос ждёт серпа, / Сжатый колос ждёт цепа. / А закончен умолот / Хлеб на мельницу идёт, / Будет рожь у мужика, / Будет в городе мука».

Это — «Город и деревня», а вот отдельная книжка — «Хлеб» — пятнадцать страниц крупной печати, на пятнадцати страницах все, вся история хлеба: Пахарь — Борона — Сеятель — Рожь — Молотьба — Веянье — Мельница — В город — Пекарь — Булочник. Песнь о хлебе в десяти главках. Пекаря привожу целиком:

Квашня хороша, / Воды три ковши, / Дрожжей на пятак, / Муки — на четвертак, / Вышло тесто на дрожжах, / Не удержишь на вожжах. / Замесил погуце / Заходило туце, / Не хватает места. / Вылезает тесто. / А я тесто — шмяк

/ Шмяк и этак, шмяк и так! / Катаю по муке / Вдоль по липовой доске. / От края до края / Каравай катаю. / Раскатаю, / стану печь, / На лопате суну в печь».

Что, хорошо? — Хорошо. И не лучше ли таких, например, стихов (книжка передо мною, нашего производства):

«В стране, где жарко греет солнце, / В лесу дремучем жил дикарь. / Однажды около оконца / Нашел он чашку — феи дар / Дикарь не оценил подарка, / Неблагодарен был, жесток, — / И часто чашке было жарко, / Вливал в неё он кипяток.

Спрашивается — для чего же чашка? Вот они, «подарки фей!» — *И чёрный мальчик дикаря / Всегда сердит, свиреп и зол. / Он, ложку бедную моря (?!) Пребольно ею бил об стол».*

Миная рифму кровати и булавки (почему не слюнявки и булавки, и благозвучнее и по смыслу ближе: слюнявку, на худой конец, можно заколоть булавкой), перейдем к очередному дару феи:

«Но феей детке послан дар: / Картонный, толстый, чёрный шар. Её в тот шар тотчас одели / Она стояла еле-еле — (вследствие чего стала называться Танькой-Встанькой. И дальше:) / Однажды к Танечке на стол / Вдруг прыгнул чёрный Васька-кот, / И сбросил бедную на пол».

Не спрашивается уже о том, откуда в тропических лесах столы и коты-Васьки (после чашки, не выносящей кипятку, вас уже ничем не удивишь), спросим у автора откуда — из каких мест России — у него это ударение: на пол? Может быть — рифмы ради? Но так ли уж блистателен Танечкин стол в тропиках?

С первой страницы до последней — все тот же бездарный, бесстыдный, безграмотный вздор. — Но разве все здешние детские книги таковы? — Не все, но она и не одна — хотя бы наличность еще пяти таких же, того же автора, за качество ручаюсь, да будь она и одна — назовите, покажите мне хотя одну такую в России. Не покажете, ибо ее быть не может. Иная культура стиха. Просто — бумага не стерпит.

Кстати, об бумаге: отличная. Печать крупная, черная, именно четкая. А об иллюстрациях нужно было бы отдельную статью. Имена? Те же безымянные. Высокая культура руки и глаза.

Возьмем копеечное — цена одна копейка. Издание пушкинских сказок «*О Золотом Петушке*», «*О Рыбаке и Рыбке*», на шестнадцать страниц текста — восемь страниц картинок, в три цвета. И какие картинки! Никакой довоенный Кнебель не сравнится. За копейку ребенок может прочесть и глазами увидеть сказку Пушкина. Достоверность (в руках держу). Вывод — ваш.

Помню копеечные книжки своего детства. «Нелло и Патраш» Уйда, но без картинок и, кажется, три копейки. Может быть, и Пушкин был, может быть и за копейку, может быть и с картинками, но во всяком случае не за эту копейку и не с такими картинками — первокачественными.

Впервые за существование мира страна к ребенку отнеслась всерьез. К дошкольному, самое большое — шестилетнему — всерьез. В Англии, когда ребенок переходит улицу, все останавливается. В России ребенок все приводит в движение. «Его Величество Ребенок», — это сказала Европа, а осуществляет Россия.

Тем детских книг, в основе, три. Природа — звери, птицы, земли — преимущественно России, народность — сказки, преданья и обычаи всех народов — преимущественно племен России и современность, если хотите — техника.

Не тяготея к последней, нет: ох как ею тяготясь, не могу не признать, что такие книжки, как «Кто быстрее» — все способы передвижения от слона до аэроплана (о тексте и рисунках раз навсегда скажу: превосходны), как «Водолазная база» — все морское дно, как «Часы» — все особи их, кончая деревенскими часами: петухом — доброе, мудрое и нужное дело.

Если даже техника — враг, человек должен знать своих врагов. Но враг она для меня и еще для полутора (заштатных) душ, наши дети в ней и с ней родились, им в ней, с ней жить, больше — ее творить.

И несмотря на всю свою любовь к Перро — так и вижу бегство Ослиной кожи из родного страшного дома — огромной вязовой аллеей, на баранах, под бараньим рогом месяца... Я только против заимствованной, не привившейся, привиться не могущей, — лже-фантастики — рязанских «Эльфов»

восстаю! — так, несмотря на всю свою любовь к Ослиной коже — чем водолаз менее волшебен, чем фея ?

Спросите детей — ответ их.

Но есть среди всех жизненно волшебных и чистоволшебные. Возьмем «Приключения стола и стула» — о том, как вещам надоело стоять на месте.

«Зазвенели зеркала. / Волчья шкура уползла. / Стол промолвил на ходу: / До свиданья! Я иду».

Не утруждая читателя пересказом всех очень живых и смешных злоключений сбежавшей пары — и очень желаю, чтобы он, читатель, потрудился сам, обращаю его внимание на законность такой фантастики. Стол — четыре ноги — и «до свидания! Я иду!» (всеми четырьмя). Это тебе не дикари с чайными чашками. Фантастика не есть беззаконие, беззаконная фантастика есть ахинея.

Природа в дошкольной российской литературе так же щедро представлена, как техника. «Зверинцев» же перечеть, но не только в клетках звери — и на воле, каждый у себя дома, на своем фоне, в своей семье или стае, со своей бедой, со своей судьбой.

Особенно нежно любимы, следовательно часто живописуемы и воспеваемы Сова и Еж — и в этом тоже вижу глубочайшее проникновение в дошкольную, еще неподневольную душу.

Кто из нас некогда не имел своего — трагического ежа? (Ежик ушел!) И кто из всех птиц не тяготел к сове: филину, родному брату родного кота? Нынешние детские книжки мою тогдашнюю детскую страсть разбредили.

Зверинцы. Из всех имеющихся знаю два, и один лучше другого. Гениальный зверинец Бориса Пастернака, на котором останавливаться здесь не место, ибо говорю о рядовой книге, и «Детки в клетке» Маршака — из всех детских книг моя любимая.

Начнем с названия. Не звери в клетке, а детки в клетке, те самые детки, которые на них смотрят. Дети смотрят на самих себя, малолетние (дошкольные!) — слон, белый медведь, бурый медведь, жирафа, лев, верблюд, кенгуру, шимпанзе, тигр, собака-волк, не просто волк — кого там нет! Все там будем.

«Вот слонёнок молодой / Обливается водой. / Вымыл голову и ухо, / А в лоханке стало сухо. / Для хорошего слона / Речка целая нужна! / Уберите-ка лоханку, Принесете-ка Фонтанку!»

А вот львенок :

«Нет, постой, постой, постой! / Я разделаюсь с тобой! / Мой отец одним прыжком / Расправляется с быком. / Будет стыдно, если я / Не поймаю воробья. — Эй, вернись, покуда цел! — Мама! Мама! Улетел!»

И, на закуску — малолетний тигр:

«Убирайтесь! я сердит! / Мне не нужен ваш бисквит. / Что хорошего в бисквите? / Вы мне мяса принесите. / Я тигрёнок, хищный зверь! / Понимаете теперь? / Я с ума сойду от злости! / Каждый день приходят гости. / Беспокоят, пристают, / В клетку зонтики суют. / Эй, не стойте слишком близко! / Я тигрёнок, а не киска!»

Закончу спокойным и удовлетворенным утверждением, что русская дошкольная книга — лучшая в мире.

Марина Цветаева.

P. S. А с новой орфографией советую примириться, ибо буква для человека, а не человек для буквы. Особенно если этот человек ребенок.

*Опубликовано в журнале «Воля России»,
№№ 5—6, стр. 550—554, 1931, Прага.*

(В ЦГАЛИ машинописная копия Крученых. Оригинал у А. С. Эфрон.)

Борис Гаврилов

Эзотерическая миграция Максимилиана Волошина

Одной из характерных черт художественного сознания начала XX века, среди символистов, в частности, было двоемирие. О теургии, жизнестроительстве, трансцендентности, неоплатонизме, герметизме писать нынче стало можно и, стало быть, модно.

Но одно дело, когда о нисхождении в материю, о соотносительности верха и низа читаем у Вячеслава Иванова, и другое — у того, кто Вячеслава Иванова и, тем более, Платона, Ямвлиха, Плотина, Гермеса Трисмегиста вместить ни вместе, ни порознь не в состоянии, из-за неместимости /несовместимости мировосприятий, хотя бы.

Эпоха, сместившая культуру начала века, смешала двоичу «верха» и «низа», и, в результате классового инбридинга с последующей селекцией, утвердилось также два мира, но уже в понятиях «pro et contra»: «революция — контрреволюция», «за красных — за белых», «свои — чужие», «социально близкие — социально чуждые», «пропаганда — контрпропаганда». И тютчевская «жилица двух миров» уразумела, что она отныне не жилица вовсе.

Диалектика противостояния, принцип бинарности, как и сам термин «бинарная оппозиция», освоены культурой XX века a priori, и postpriori. В этом веке поэт принужден был сделать то ли ставку, то ли выбор, — в тотальной безысходности и обреченности отсутствия выбора. Один выбор был уготован и автору «*Одна из всех — за всех — против всех!*»

(Марина Цветаева), и автору «...голос певца подымает класс, / и тот, кто сегодня поет не с нами, тот — против нас.» (Владимир Маяковский) — выбрать между петлей и пулей.

Когда победивший класс вздыбил уже не голос, а волос, свой доблестный выбор места «поэта в рабочем строю» сделал и автор спецхрановского раритета «Стихи о Терроре» Максимилиан Волошин:

*Творческий ритм от весла, гребущего против течения,
В смутах усобиц и войн постигать целокупность.*

*Быть не частью, а всем; не с одной стороны, а с обеих.
Зритель захвачен игрой — ты не актёр и не зритель,
Ты соучастник судьбы, раскрывающий замысел драмы.*

*В дни революции быть Человеком, а не Гражданином:
Помнить, что знамёна, партии и программы
То же, что скорбный лист для врача сумасшедшего дома.
Быть изгоем при всех царях и народоустройствах:
Совесть народа — поэт. В государстве нет места поэту.*

«Доблесть Поэта».

Драматическая коллизия века проявилась еще и в том, что «Маяковского стали внедрять как картошку» по словам Бориса Пастернака, а Максимилиана Волошина не культивировали полвека.

Вынесенная в заглавие «эзотерическая миграция» тоже бинарна в духе века, коему Волошин конгениален. Контаминация словосочетания «э-зотерическая миграция» дает вариант: э — миграция.

Как известно, в эмиграцию Волошин так и не уехал. Этот факт биографии было решено внегласным решением синклита тогдашних идеологов «принять за основу» советизации образа Волошина.

Температура внедрения «хорошо советизированного» Волошина, как «хорошо темперированный клавиш» Баха, пошла, как по нотам, благодаря тому же безголосому ареопагу. В облике Волошина, доступного массам, низведенного до уровня масскульта, сегодня проступает бутафорская гримаса — реквизит времени постсоветского.

Этимологически слово «эзотерический» восходит к древнегреческому — «*внутренний*»; внутренняя эмиграция Волошина была миграцией внутрь, трансмиграцией духа и трансформацией сознания:

*Я не изгой, а пасынок России.
Я в эти дни — немой её укор.
И сам избрал пустынный сей затвор
Землю добровольного изгнания,
Чтоб в годы лжи, паденья и разрух
В уединеньи выплавить свой дух
И выстрадать великое познание.
«Дом поэта»*

Вольнодомный думострой

Совокупность противоположностей в Волошине изначальна: уже в самом его происхождении (фр. lignée; англ. lineage, где line — черта, линия) — по линии матери — немцы, по отцовской линии — запорожские казаки. Марина Цветаева, приведя в «Живое о живом» цитату из Гёте: «Von Mutteren — die Frohnatur und Lust zum Fabulieren» (от матушки — веселый нрав и страсть к сочинительству), опустила первый стих гётевского афоризма: «Von Vater hab ich die Statur, des Lebens ernstes Führen» — от отца — телосложение и серьезное отношение к жизни.

От матери в Волошине, действительно, многое, даже то, что — вопреки ей, тоже от нее. Родовая связь Волошина с матерью — об этом его стихотворение «Материнство», не только родовая, но и роковая.

До восьмого января двадцать третьего года, до дня ее смерти, Волошин был вынужден оставаться с нею, немощной, в Коктебеле, да и вернулся он из Европы главным образом из-за матери: «Вспоминая последние недели, проведенные в Париже, — говорит Волошин, — я замечаю, что у меня вовсе не было тоски расставания с Парижем. Хотя я должен был предвидеть, что еду в совершенно неизвестное, но не предвидел Революции и того, что на много лет

вне своей воли, застряну в России, — а это-то именно и случилось со мной. Мой отъезд был решен маминым зовом, которая писала, что, если я теперь не приеду, то она совсем не знает, когда и как мы увидимся» (курсив мой. — Б.Г.).

«Властная правительница Пра», мать поэта, — оказала влияние на Максимилиан Волошина гораздо большее, чем он сам мог предположить. «Мать поэта» — совсем не определяет ее амплуа, она — личность не только самобытная, но и самостоятельная. К слову, назвавший книгу об Авдотье Яковлевне Панаевой «Жена поэта» Корней Иванович Чуковский — уже в самом названии определил статус спутницы Николая Алексеевича Некрасова.

Из аттестаций матери, принадлежащих Волошину, здесь, внимания заслуживает следующая:

«Моя мать и по типу, и по складу характера принадлежала к поколению русских женщин семидесятых годов и до старости сохранила этот тип, всегда у последней черты, всегда переступающий запретные границы».

Последнее Волошин унаследовал сполна; будучи не только иррациональным, но и иррегулярным *par excellence*.

В своем эксцентризме Максимилиан Волошин и Елена Оттобальдовна Волошина являли пару, со всеми возможными модуляциями парности (полярности). Подобное влияние доминировавшей (где *дом* задает тон и строй) матери испытал и Василий Васильевич Розанов, также отличавшийся своею эксцентричностью; будучи внутренне ориентированным, он как бы не замечал внешних проявлений собственной непохожести, доходившей, как и у Волошина, до чудачества, временами юродства.

В случае с Еленой Оттобальдовной Волошиной доминирование не было нарочитым, как в случае так называемого «нормативного» воспитания, где норма задана извне, скажем, традицией домостроя. Стиль воспитания в доме Волошина был по преимуществу либеральным, но не попустительским в то же время. Пространство между «пресечь» и «позволить» не только ведь игровое, но и социальное, то есть ограничено еще и «непозволительной роскошью».

«Детство принадлежало буржуазии» — утверждал влиятельный современный радикальный мыслитель Иван Иллич (Ivan Illich). Семья Волошина была далеко не буржуазной, и границами дозволенного были весьма ограниченные возможности семьи, в современной терминологии «неполной», где отсутствие отца восполнялось матерью. Такое, без отца, воспитание сейчас называется «охранным» и, с учетом властной матери, можно сказать, что с «охранкой» он был знаком уже с рождения...

Либеральное в сочетании с авторитарным — не такая уж редкая черта в России. В классическом значении (Теодор Адорно и другие «The Authoritarian Personality»), мать Волошина обнаруживала «авторитарную личность» в задатках характера. Подобная «заданность» имела место и в истории с ее крестной дочерью — Алей, Ариадной Эфрон, о чем Марина Цветаева писала в середине тридцатых в письме к Юрию Иваску:

«От меня после двухлетнего невыносимого сосуществования, ушла дочь — головы не обернув — жить и быть как все. Та самая Аля. Да. От черной работы и моего гнета. У меня *самовес помимовольный*. Не гнету я только таких, как я, а она — обратная» (*курсив мой.* — Б.Г.).

«*Помимовольный самовес*» — как точно определена этим и Елена Оттобальдовна Волошина! — близкая и совсем *не-обратная* Марине Цветаевой натура, что и обнаружилось сразу же в первый приезд Цветаевой в Коктебель в одиннадцатом году, не случайно избравшей ее, Пра, крестной матерью своей первой дочери.

Женщины с «самовесом» и «мамаши-кураж», заменяющие мать (*сублематери*) определяли выбор Волошина не только на первых порах, как, скажем, феодосийка Александра Михайловна Петрова, старший товарищ Волошина, оказавшая, наряду с матерью, заметное влияние на него.

В одном из писем к Петровой из Москвы, подписанном «дитю», Волошин именует ее своей «феодосийской маменькой». Или, по аналогии, — его «парижская маменька» — Александра Васильевна Гольштейн.

Подобный вариант имел место в Бад-Наугейме, где семнадцатилетний «Сашура» Блок, был удержан матерью в его влечении ко Ксении Садовской, статской советнице и матери троих детей, бывшей лишь на год моложе блоковской матери.

Соотнося типологически мать с «русскими женщинами» семидесятых, Волошин имел в виду не только некрасовскую поэму; из той эпохи Елене Оттобальдовне были близки независимые характеры, независимость которых доходила до нигилизма (Софья Ковалевская с ее «Нигилисткой» etc.). Опять же — ничего невозможного в сочетании «институтки» и «нигилистки» нет. А еще, как известно, мать Волошина была суфражисткой. Суфраж ее, правда, — тоже более домашний, чем площадной.

«Одна из педагогических установок Елены Оттобальдовны, — говорила Мария Степановна Волошина, — состояла в том, чтобы ребенку во всяком возрасте разрешалось читать любые книги — в расчете на то, что он сам отделит нужное от ненужного».

Не однажды упоминаемое Волошиным «чтение книг в пределах материнской библиотеки» — первый шаг в его интеллектуальную беспредельность, первый камень в основание Волошина «неблагонамеренного подданного». Волошин называл гимназию «фабрикой благонамеренных подданных».

«Христос еще не распят: он еще — на полках», говаривала Антонина Николаевна Изергина, сестра моего близкого друга Марии Николаевны Изергиной, спасшая, по ее словам, коллекцию импрессионистов в бытность заведующей западным отделом Эрмитажа. Кстати, изъятий не миновала и волошинская библиотека уже после Осипа Манделъштама, «реквизировавшего», как подозревал Волошин, надписанный ему сборник «Камень». «Библиями спали на полках» — читаем у Осипа Манделъштама о «толстых журналах» начальника порта, в которых регистрировались пароходы.

Георгий Федотов писал о Петербурге двадцатых годов: «Многие из этих дворцов до чердаков набиты книгами, картинами, статуями. Весь воздух здесь до такой степени нады-

шан испарениями человеческой мысли и творчества, что эта атмосфера не рассеивается целые десятилетия. Даже большевики, не останавливающиеся ни перед чем, не решились тронуть этих сокровищ из страха стен. Эти стены будут еще притягивать поколения мыслителей, созерцателей. Вечные мысли родятся в тишине закатного часа. Гробод культурных скитов и монастырей, подобно Афинам времени Прокла, — Петербург останется надолго обителью русской мысли».

Это — о многими поколениями всяческих «романтиков и любомудров» намоленных стенах храма культуры. Большим недосмотром инквизиторов были оставшиеся на полках книги.

Об отношениях с матерью, которые были «тяжелее, чем террор», Волошин сделал запись в дневнике после одиннадцатого сеанса психоанализа. Он проходил анализ у Семена Яковлевича Лифшица в двадцать шестом году в Коктебеле по своей инициативе, но, под давлением Марии Степановны Волошиной, прекратил его после двадцатого сеанса. После двенадцатого сеанса в дневнике появилась запись:

«Иррациональное упрямство матери в некоторых разговорах, доведивших меня до мысли об ее безумии. Потом *перенесение* (*курсив мой — Б.Г.*), вероятно, этого же чувства насилия над собой на государственную власть. Сон о насилии над детьми».

С работами Зигмунда Фрейда Волошин был знаком — книги Фрейда сохранились в его библиотеке — и употребленное им *перенесение* соответствует понятию *перенос* или *трансфер*, одному из трех, по оценке самого Фрейда, ключевых понятий психоанализа.

Экстраполировав свой домашний и гимназический опыт, Волошин придал ему государственный масштаб:

*Из всех насилий,
Творимых человеком над людьми,
Убийство — наименьшее,
Тягчайшее же — воспитанье.*

*Правители не могут
 Убить своих наследников, но каждый
 Стремится исковеркать их судьбу:
 В ребёнке с детства зреет узурпатор,
 Который должен быть
 Заране укрощён.
 Смысл воспитания:
 Самозащита взрослых от детей.
 «Государство».*

О воспитании, как «насилии над детьми», есть откровение в «Исповеди», в которой самоанализ дан с младенчества: у Августина, известного как Блаженный. Сергей Аверинцев в словарной статье о нем писал:

«... всякое насилие — от насилия над ребенком в школе, выразительно описанного в «Исповеди», до государственного насилия — для Августина «есть следствие греховной испорченности человека и постольку достойно презрения, но неизбежно. Поэтому Августин признавал и необходимость государственной власти, им же охарактеризованной как «большая разбойничья шайка».

В связи с последним нужно, конечно, упомянуть еще один фрагмент из волошинского «Государства»:

*В нормальном государстве вне закона
 Находятся два класса:
 Уголовный
 И правящий.
 Во время революций
 Они меняются местами,
 В чём,
 По существу, нет разницы.
 Но каждый
 Дорвавшийся до власти сознаёт
 Себя державной осью государства
 И злоупотребляет правом грабежа,
 Насилий, пропаганды и расстрела.*

О том, что государство есть насилие, знали не только Блаженный Августин и Максимилиан Волошин, — не знает об этом только государственный служащий, но даже такой выдающийся теоретик и практик и терроретик революционного террора, — как Ленин, который обещал отмирание государства, но стадийно-поэтапное: сознательные граждане — первым этапом...

Как-то в Коктебеле гоголевед Игорь Золотусский поведал мне слышанный им от Марины Степановны Волошиной рассказ о том, как Волошин убеждал Максима Горького: «Когда родина-мать больна, дети не должны покидать ее». На что Горький, окая, отвечал: «Вот вы и оставайтесь, а мне мое здоровье дороже!» И уехал на Капри...

Волошинский мотив больной родины-матери, якобы, оттеняет здесь «несвоевременные мысли» Максима Горького — о себе, прежде чем о родине.

Сюжет этот, в духе многих коктебельских преданий, конечно, несколько пародирован. Приезжал Максим Горький в Коктебель в семнадцатом году. Пробыл с двенадцатого августа, — месяц, с Володиным беседовал часто и уехал «неохотно» в Петроград, произведя на Волошина впечатление человека «усталого и больного».

На Капри же Горький жил до приезда в Коктебель, в тысяча девятсот шестом—тринадцатом годах, за границу уехал в двадцать первом, а в двадцать четвертом году поселился в Сорренто, где, в частности, его посетила Анастасия Цветаева.

Публицистическое клише «*родина-мать*» по частотности употребления сравнимо, вероятно, только со словоупотреблением в самом устном народном творчестве лексемы, корень которой — *мать* — в основе всей парадигмы.

Что в народе, тонко чувствующем разницу между конструктами *своего* и *чужого*, вызывает разную реакцию: блаженного умиротворения — на *мою мать*, и гордого возражения с нарастающим беспокойством — на *твою мать*.

Об этом, между Венедиктом Васильевичем Ерофеевым и Иваном Семеновичем Барковым, с незаемным чувством гордости убедительно сказано у Николая Васильевича Гоголя:

«Выражается сильно русский народ! и если наградит кого словом, то пойдет оно ему в род и потомство».

У американцев есть присловье: «Я имею право ругать мою мать, потому что она *моя* мать. А ты — нет», но чтобы родину, да по матушке по Волге... вдоль и поперек!?

«Фрейд был большим женоненавистником — возмущены нынешние американские феминистки. — Благодаря Фрейду, вся Америка полна великовозрастными мужчинами, поседевшими от обращения с ними их матерей, обыкновенно уже умерших». Вот, что, по-американски, значит любить отчизну-мать, «но странную любовью».

Называвший себя «пасынком России» Максимилиан Волошин имел упование, что «праведная Русь» «возникнет из *ненавидящей любви*». Так же «оксюморонно» назван у него и посвященный любви цикл: «*Amor amara sacrum*», что с латыни переводят как «святая *горечь* любви».

Горький (*amara*) привкус любви к родине не есть извращение вкуса; *генеративная* (порождающая), а отнюдь не *дегенеративная* модель, — известная сатира Децима Юния Ювенала: «*Facit indignatio versum*» («негодование рождает стих»). *Indignatio* (возмущение), но это — негодование праведное, а не подстрекательски-деструктивное, как, скажем, дионисийски-опьяняющая, известная своей кровавостью строчка — «кипит наш разум возмущенный и в смертный бой вести готов».

«*Он проповедует любовь / Враждебным словом отрицанья*» — очень по-волошински сказано в некрасовском «незлобливом поэте», построенном на антитезе с оксюморонной концовкой: «И как любил он — ненавидя!» Отвечая на «некрасовскую» анкету Корнея Чуковского, на вопрос: «Как вы относитесь к распространенному мнению, будто Некрасов был безнравственным человеком?» Волошин дал ответ:

«Личность Некрасова вызывала мои симпатии издавна своими противоречиями, ибо я ценю людей не за их цельность, а за размах совмещающихся в них противоречий».

Однако, при всей любви к Некрасову, Волошин швыряет в набежавшую волну революции за борт парохода совре-

менности его «Поэта и Гражданина», вместе с его «Музой мести и печали»:

«Ненависть является одной из форм выражения любви только для сердец не просветленных. Долг гражданина и поэта не совпадают и могут противоречить один другому», — высказался он в «Судьбе Верхарна».

О религиозном долге, праве на «самозаушение», будь то поэта или гражданина-обличителя, негодующе-примиряюще сказал Сергей Николаевич Булгаков:

«Те, сердце которые истекали кровью от боли за Родину, были в то же время ее нелицемерными обличителями. Но только страждущая любовь дает право на это национальное самозаушение, там же, где ее нет, где она не ощущается, поношение Родины, издевательство над матерью, проистекающее из легкомыслия или духовного оппортунизма, вызывает чувство отвращения и негодования».

«Негодование рождает стих».

Санкюлом sans — culotte

Писатель в гостиничном номере мучается бессонницей, все никак не может найти нужное заглавие для статьи о градостроительстве. Во сне ему приходит идея: разделить эту большую статью на три отдельные статьи и каждой дать самостоятельное заглавие. Чтобы не забыть, он, полусонный, протягивает руку, берет с тумбочки пачку папирос «Беломорканал» и прямо на ней записывает:

Статья первая. О Граде Божиим;

Статья вторая. О Ленинграде Божиим;

Статья третья. О Сталинграде Божиим.

Затем он ворочается, снова не спит, обдумывая такую структуру, и решает, что должна быть еще одна, пояснительная, заключительная часть. Он берет пачку и дописывает: *В место заключения*. При этом в слове *место* начальная буква *в* явно отрывается от остальной части слова. Наконец он засыпает.

А утром, когда он идет умываться, сосед по номеру, желая угоститься папироской, берет пачку, читает написанное

и, подчеркнув с натиском описку *В МЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ*, подписывает в самом низу: Статья 58 УК РСФСР.

Это — советский вариант фрейдизма: «толкование сновидений», описок, оговорок и оговоров...

Советская интеллигенция известного времени, вероятно, никогда бы не стала массово читать поэму Алексея Константиновича Толстого «Сон Попова», не будь там главы об оговоре, в которой герой *«Пошел строчить — как люди в страхе гадки! / Имён невинных многие десятки!»*.

Но есть в толстовской поэме сюжетобразующее слово, из которого, вероятно, возник сам сюжет. Хотя подобные предположения не делаются походя, все же решусь на такую гипотезу. «Не мудрствуйте, надменный *санкюлот!*» — угрожает Попову «лазоревого полковник»¹.

*Приснился раз, Бог весть с какой причины,
Советнику Попову странный сон:
Поздравить он министра в именины
В приёмный зал вошел без панталон —*

начинается толстовская поэма.

В Комментарий к «Евгению Онегину» Юрий Михайлович Лотман так откомментировал строку: *«Но панталоны, фрак, жилет, / Всех этих слов на русском нет»*:

«Французский язык и культурная традиция создали удивительное противопоставление коротких штанов, застегивавшихся ниже колен (*culotte*), и длинных, получивших название от костюма комического персонажа итальянской сцены Панталоне. Первые являлись дворянской одеждой, вторые принадлежали костюму человека из третьего сословия.

Социальная значимость этих деталей была столь велика, что люди восставшей улицы эпохи Великой французской революции получили кличку «санкюлоты» — «не носящие дворянских коротких штанишек». Эта социальная символика была совершенно чужда и русской системе одежды, и русскому языку. Не случайно „санкюлот“ было в русском языке

¹ Санкюлот — *sans-culotte* с фр. буквально означает — «без штанов». — Ред.

ке XVIII веке заменено калькой „бесштанник“, что осмыслялось как „бедняк“, не имеющий штанов вообще».

Анатолий Мариенгоф упоминает эпиграмму о «беспанталонных аполлонах» Коктебеля, где следующее после смерти Максимилиана Волошина лето тридцать третьего года он проводил в кампании Андрея Белого и Осипа Мандельштама: *«Наши Аполлоны / Плюхи с колыбели. / Снявши панталоны, / Ходят в Коктебеле»*. Но это строки прежде всего о Волошине.

«Максимилиан Волошин... Если вы произнесете это имя перед любым „добрым буржуа“, он воскликнет радостно:

— А а, Макс Волошин... Тот, который живет в Коктебеле, ходит без штанов, носит греческий хитон и венок на голове» — ернически начинает один из вариантов автобиографии Максимилиан Волошин.

А Марина Цветаева в „Живое о живом“ портрет Волошина начинает с описания его белого, парусинового балахона, «о котором так долго и жарко спорили — особенно дамы, есть ли или нет под ним штаны».

Штаны у Волошина были. Я не мог вполне ощутить волошинских «Семь пудов мужской красоты!» по Цветаевой, «зная» его уже по сотням фотографий, включая и те, парижские, где он позирует ню, пока не развернул перед своими собственными глазами надвое сложенные в поясе волошинские «кюлоты». Мария Степановна Волошина называла их «бриджи», держа их перед собой, нет, не на ширину рук, конечно, но на ширину плеч, человека весьма не узкоплечего.

Вероятно, это те самые «короткие брюки», в которых Волошин в двадцатые годы ездил по Крыму, о чем вспоминала жившая в ту пору в Симферополе Мария Николаевна Изергина: «Одет Макс был как заграничный турист того времени: берет, короткая тальма и короткие же брюки, застегивавшиеся на пуговицу за коленом. На ногах крепкие чулки и тяжелые ботинки. Это вызывало оживление среди мальчишек, и он шел под их свистки, смех и всяческие комментарии. Это его нисколько не смущало, и как-то он сказал, когда мы проходили с ним под этот шум: «Как говорится в Библии, «лучше пройти побитым камнями, чем пройти незамеченным».

Последнее, конечно же, не библейское изречение, а очень даже волошинское. Камнями побивает толпа, приведенная в ярость, реакция же на Волошина не шла дальше улюлюканья, свистания etc.

Волошин представлял феодосийскую улицу, как сцену, где прохожие — зрители или созерцатели, зеваки и так толковал уличные сценки бывшие с ним, и с его матерью: «...будучи в Феодосии очень одинок, я приобрел привычку читать про себя стихи, которые я знал наизусть в громадном количестве. Это мне заменяло книгу, и я, проходя по улице, беспрестанно бормотал что-то про себя и часто подчеркивал ритм и интонацию незаметными и плавными движениями руки.

Я знал, что это на меня обращает внимание, но раз я никому не причинял зла, то что мне до этого? Мой „белый колпак“, изобретенный мамой, и мое чтение стихов про себя сразу дали общей тон отношению ко мне феодосийцев.

Это выделяло меня в глазах провинциальной публики, в то же время вызывая осуждение: „Оригинальничанье“... Но меня это не огорчало, потому что таково же было и общее отношение встречных к моей матери».

О волошинском «белом колпаке». В России начала века гимназист должен был носить форму, имевшую почти военный характер, причем, должен был носить ее и вне гимназии. Круглый год гимназисты носили фуражки — зимние шапки не полагались — синего цвета с тремя белыми кантами и с черным козырьком. К околышу прикреплялась эмблема с монограммой из инициалов города и номера гимназии — в центре между двумя пальмовыми ветвями.

Мятая фуражка с преломленным козырьком — это высший шик, который можно было себе позволить. Волошинский же «колпак» — это уже греза запредельной революционности, «клоун в огненном кольце... / Хохот мерзкий, как проказа» «вызов, брошенный гогочущей толпе», вольность фригийская: «Она мне грезилась в фригийском колпаке» — пишет он о революции.

Волошинский дресс-код, «где вывеска, изображая брюки, / даёт понятие нам о человеке» по Осипу Мандель-

штаму, «регламентирован» его принадлежностью к поэтам: «...когда Волошин появлялся на шербатых феодосийских мостовых в городском костюме: шерстяные чулки, плисовые штаны и бархатная куртка — город охватывало как бы античное умиление, и купцы выбегали из лавок» в воспоминаниях Осипа Мандельштама.

Надо полагать, что, в отличие от «особенных», жарко споривших, по Марине Цветаевой, дам, все-таки интерес вызывает Волошин носитель идей, а не штанов. «Париж — это мозг Европы», говорит Волошин, а не ее противная, рифмующаяся с нею часть.

И Волошин, как «санкюлот», подобен всем вольнодумцам прошлого, в голове которых «Вольтеры и Дидероты». Цветаева говорит, что «в другой свой дом, в Россию, Макс явно вернулся», но вернулся он «*другим*», как во времена Ивана Сергеевича Тургенева вернулся из Европы в свое дворянское гнездо «англоманом» его главный герой; только еще более «*другим*» — не галломаном даже, а парижеманом.

Миграция во вне или французская горизонталка

«Каждый писатель, — обращался Волошин к читателю в одном из предисловий, — хоронит в себе поэта, умершего молодым. Но и тот, кто остается поэтом, успевает похоронить в себе несколько различных поэтов. Я знаю, что можно любить только умерших, они не меняются. Не бойся же полюбить поэтому тех четырех поэтов, которых я похоронил в этой книге. Один был юн, наивен, жизнерадостен. Он много ходил по земле, от Аральского моря до Гибралтара, но видел только *внешние* формы и слышал только *внешние* слова» (*курсив мой. — Б.Г.*).

Эпотаж — это бегство от толпы на почтительное расстояние, эскапизм же *во внешнее* — род дендизма. Рассчитан он не столько на толпу, сколько на молву. Если, по Борису Пастернаку, «*быть знаменитым некрасиво, / не это подымает ввысь*», то дендизм хочет быть знаменитым *красиво*, возвыситься и, «ничего не знача, быть притчей на устах у

всех». Внешность в дендизме — главное, он весь — напоказ. Знак приличия и знак отличия у денди — один знак (значимость): *комильфо*. Его стремление — соответствовать, отличаясь. Денди и пальцем не пошевелит, если такое движение не есть дефиле; жизнь, по денди, — изысканное движение холеных тел. Он материален в том смысле, что материя есть ткань, фактура, мануфактура. Он холоден. Он ар(т)истократичен. В конце концов, он — *денди*.

В «Ликах творчества» Максимилиан Волошин не упустил ни одного имени известных денди: от самого Джорджа Брайана Браммэлла (англ. *Brummell* — у Волошина: *Бреммель*) и Барбе д'Оревельи до Оскара Уайльда и Жориса Гюисманса. Франтоватых же соотечественников-современников, вроде Михаила Кузмина или Николая Гумилева, скорее можно отнести к «эстетам», как и самого Волошина — в своем эстетизме он позднее покаялся. Дендизм, в его безупречной выверенности жеста и идеально-гладкой поверхности, — вывернутая изнанка духа, его обратная сторона, как роман Гюисманса «Наоборот». Его «вершинность» и «холодность», усвоенная также эстетизмом, полярны любви и глубине духа.

Когда от Волошина уходила жена, Маргарита Васильевна Сабашникова, она говорила об особенностях, принять которые в нем никак не смогла: его костюма — и, думается, нарочитой экстравагантности в целом — и некоторых деталей его стиля, напыщенного и холодного. В частности, она упоминает фразу Волошина: «на вершинах познания одиноко и холодно».

Путь Волошина от модничанья к модерну пролегал за семь верст от отечества:

«В первый раз попавши за границу двадцати одного года от роду, я ходил по картинным галереям совершенным дикарем и наивно удивлялся: «Какую ерунду писали эти старые мастера, то ли дело наша Третьяковка. Как странно, что Россия, в общем, страна малокультурная — об этом я тогда уже начинал догадываться, так далеко опередила Европу в области живописи. Это было естественное следствие живописи передвижников, на которых я воспитался. И возненавидел же я их

спустя несколько лет за эти патриотические бельма!» — медленно прозревал будущий автор «С Россией кончено...».

Вот одна из ранних волошинских трансценденций *во-вне*: «*И тусклый мир, где нас держали, / И стены пасмурной тюрьмы / Одной силой жизни мы / Перед собою раздвигали.*» Это — волошинский прорыв чрез косность, чрез «родимый хаос» по Петру Чаадаеву, отчаянный жест того, кто «с беспредельным жаждет слиться»; жизненный порыв — *élan vital*, по Анри Бергсону, — еще до посещения Волошиным в конце девятьсот восьмого года в Париже лекций Бергсона, и до того, как, в девятьсот десятом году, им была неспешно, «страница за страницей» прочитана «Творческая эволюция».

Если в московской гимназии Волошина на второй год оставили, то из Московского университета его на второй год изгнали.

В библиотеке Волошина сохранилось «руководство» для учащихся — «Выбор факультета» Николая Кареева, известного историка, ученика Владимира Ивановича Герье. С работами Кареева Волошин познакомился еще будучи гимназистом. Кстати, дочь Кареева, детская писательница Елена Николаевна Верейская, была женой художника Георгия Семеновича Верейского, автора литографических портретов Максимилиана Волошина, сделанных в двадцать четвертом году в Ленинграде.

В предисловии к третьему изданию «Выбора факультета» Кареев приводит газетную статью, подписанную — «бывший гимназист», которая начинается словами: «Выбор факультета... Мы затруднились бы указать что-нибудь более шаткое, неопределенное, странное. Факт невероятный, чудовищный и... всем известный: факультет «выбирают» по указанию знакомых».

«Свобода выбора» у Волошина была в большой мере в зависимости от матери, воля которой и предрешила выбор юридического факультета.

В том же тысяча восемьсот девяносто девятом году, что и студент Волошин, автор «Выбора факультета», профессор Кареев, по тем же, *политическим*, мотивам был изгнан из

университета. Пути их сойдутся в девятьсот восьмом году в Париже в Высшей Русской школе общественных наук...

И где же здесь выбор? Все дороги ведут в Париж. Банальное русское бездорожье: дураки и дороги. Русский путь: от «Нового пути» Дмитрия Мережковского и Зинаиды Гиппиус, где состоялся дебют Волошина-поэта, до бердяевского «Пути», завершившего русское «начало века».

Екатерина Петровна, принцесса Ольденбургская была названа в воспоминаниях графа Сергея Дмитриевича Шереметева «путеводной и воодушевительной звездой». Когда в тысяча восемьсот шестьдесят третьем году граф был произведен в офицеры, эта принцесса, эта *astra divinitus*, назвала «путеводительной звездой» — звездочку на его эполетах...

От звезды к звезде... Не с неба хватают звезды, а по службе... люди служилые... Вот такая путеводная «одигитрия». Но среди женских образов у графа встречаются и не столь блистательные, но не менее близкие его стареющему сердцу образы женщин, именовавшихся в ту пору «французскими горизонталками».

Названы они «горизонталками» вовсе не по тому «горизонтальному» положению, которое занимали в общественной вертикали.

«Горизонталка» возможна, не только как средство передвижения — линейка, кибитка, конка, подземка, двуколка, тройка, бричка, электричка, но и как цель: передвижения ради. Я бы назвал «французской горизонталкой» миграции по горизонтали, (путешествия, туризм, от фр. *tour* — прогулка), цель которых впечатлеться, получить, если это даже не «Прогулка короля», как у Александра Николаевича Бенуа, заряд бодрости от движения, калейдоскопической смены путевых картин etc.

Почему именно «французской»? Хотя бы потому, что от французской булки и пирожного «наполеон» до французского поцелуя и, узы, «галльской» хвори, — на Руси с понятием «французский» частенько было сопряжено плотское наслаждение, чувственность, гедонические неоднообразия. Ну и потому, конечно, что речь — о Максимилиане Волошине.

«Каким бы замечательным французом я мог быть» — сформулировал свои предпочтения Волошин, обнаруживая некоторую склонность к трансвестизму его национальной идентичности. Об этом случае волошинского культурного рожения, переодевания (травести) Марина Цветаева писала:

«Явным источником его творчества в первые годы нашей встречи, бывшие последними до войны, была бесспорно и явно Франция. Уже хотя бы по тем книгам, которые он давал друзьям, той же мне: Казанова или Клодель, Аксель или Консуэла — ни одной, за годы и годы, ни немецкой, ни русской книги никто из его рук не получал. Ни одного рассказа, кроме как из жизни французов — писателей или исторических лиц — никто из его уст тогда не слышал. Ссылка его всегда была на Францию. Оборот головы всегда на Францию.

Он так и жил, головой, обернутой на Париж. Париж XIII века или нашего нынешнего, Париж улиц и Париж времен был им равно исхожен. В каждом Париже он был дома, и нигде, кроме Парижа, в тот час своей жизни и той частью своего существа, дома не был».

«Странником вечным в пути бесконечном» отрекомендовался в поэзии начала века Максимилиан Волошин, называя «*странничеством*» свои путешествия на Восток и на Запад — вполне по горизонтали, его — «французская горизонталка». Что Зинаида Гиппиус не преминула квалифицировать, как «коммивояжерство», вызвав соответствующую реакцию делающего первые шаги в литературе Волошина.

Напомню известную новеллу Франца Кафки «Метаморфоза», герой которой, тоже молодой коммивояжер, превратившийся в насекомое. Она начинается именно с того, что он, проснувшись, не может встать на ноги. Все это признаки становления, стремления *встать на ноги*, роста.

В не так давно опубликованной биографии Андре Мальро, дважды героя французской культуры в правительстве генерала Шарля де Голля, где он дважды занимал пост министра самой культурной державы мира, Джон Стеррок назвал его ранний интерес к Востоку — и, соответственно, поездки в Китай, интересом «арт-диллера».

Интерес Волошина к европейскому искусству и визиты в Европу в начале века, как известно, — имели интерес вполне практический: овладеть делом художественной критики.

Гиподромомания кентавра Хирона

В конце восьмидесятых-начале девяностых я охотно приглашал на конференции поэта и переводчика Владимира Микушевича, глубоко оригинальные импровизации — поэтизации которого мне imponировали. Тогда он был еще безбород, и, приподняв голову, ну, не так высоко, как у Осипа Мандельштама, Владимир Борисович возносился в интеллектуальном парении из бездны многообразных знаний, оставаясь в монументальной застылости торса.

Непременным упоминанием тогдашнего Микушевича, если разговор касался Волошина, был кентавр Хирон. Уже в Америке я прочитал работу Микушевича «Отродье Кошки и Кобылы», в которой автор относит Волошина к «кобыльему роду», ссылаясь на волошинскую строчку: «Я духом Бог, я телом конь».

Какого рода был Волошин еще и при жизни его определить было не так просто. По классификации близко знавшей Волошина писательницы Рашели Мироновны Хин-Гольдовской, например, он — «*не мужчина, не женщина, не ребенок*». Но, может быть, не столько «кобылье», сколько «конное» в Волошине, — наряду с «пешим», в «кентаврообразующей» метафоре есть посреднически примиряющее начало между «верхом» и «низом». Так, скажем, понятие *коррида* включает и бег, и быка.

Правда, поднятого на рога торреро, все-таки вряд ли стоит относить к «верху» кентаврообразования. Георгий Федотов, взвешивая фалконетский кумир звере-кесаря пребывал в недоумении: «Кто же здесь змей, кто змееборец?»

Известно, что один из «байроноподобных» признаков Борис Пастернак обрел, упав с лошади; одна нога его стала короче. Марина Цветаева усмотрела «лошадиное» сходство Пастернака одновременно и с наездником и с лошадьё.

Лошадевсадник или джигитоконь, здесь, — разновидность кентавра. Александр Блок настаивал на своем «зигфридоподобии»; однако поэт «Прекрасной дамы» — создатель редкостного «лошадиного» образа: *«Ты сомнёшь меня в полном цвету / Белогрудым усталым конём».*

А автор «Холстомера» сросся с телом — текстом отнюдь не меньше, чем с плугом, который он ведет по борозде вслед за лошастью, не говоря уже о том, что со своей Софьей Андреевной он стал «одна плоть» в карете по дороге в имение после венчания.

И даже странно, что теоретик прозы и создатель формальной школы — Борис Михайлович Эйхенбаум — ни в одной из многих своих книг о Льве Николаевиче Толстом ни разу не оговорился и не назвал его «толстомер».

Волошин тоже «лошадиная» фамилия в русской литературе, благодаря кентаврообразию: «Прошлого моего духа представлялось мне всегда в виде одного из тех фавнов или кентавров, которые приходили в пустыню к святому Иерониму и воспринимали таинство святого крещения. Я язычник по плоти и верю в реальное существование всех языческих богов и демонов и в то же время не могу его мыслить вне Христа».

В своей парижской мастерской Волошин поместил на стене репродукцию редоновского «Кентавра», упомянутого в стихотворении «Письмо».

В девятьсот пятом году, опять же в Париже, Волошин перевел сонет недавно умершего парнасца Хозе-Мариа Эредиа «Бегство кентавров». В последующие годы он «нагромоздил» Оссу даже не на Пелион, где в пещере жил кентавр Хирон, а на Карадаг... в «громадах» своей «киммерийской» темы, с ее гомеровским присутствием.

Поляк Вацлав Рогович, бывавший в парижской мастерской Волошина, назвал его *«прирученным кентавром».* «Доместикация» произошла благодаря скульптуре его соотечественника Эдварда Виттига La tete de poete, моделью для которой был Волошин. Об этой работе Эдварда Виттига Рогович писал в статье «Прирученный кентавр и девушка»:

«Он создал какую-то несовременную-древнегреческую, геродотовскую голову, голову человека золотого века, тех доисторических времен, когда «королевы ходили по воду, а королевы знали число своих баранов».

Байроноподобный «верх» и бараноподобный «низ» — гибрид литературного происхождения. О наполовину кошечке наполовину барашке — рассказ Франца Кафки «Гибрид».

Бестиаморфизм — составная часть волошинского мифологизма, мифологического зооморфизма: «Кажется, точно стада допотопных чудовищ были здесь застигнуты пеплом. Под холмами этих долин можно различить очертания вздутых ребер, длинные стволы обличают скрытые под ними спинные хребты, плоские и хищные черепа встают из моря, один мыс кажется отставленной чешуйчатой лапой, свернутые крылья с могучими сухожилиями обнажаются из-под серых осыпей; а на базальтовых стенах Карадага, повисших над морем, можно видеть окаменевшее, сложное шестикрылое Херубу, сохранившее формы своих лучистых перьев». Максимилиан Волошин — археологический пращур фурри и аниме:

*Старинным золотом и жёлчью напитал
Вечерний свет холмы. Зардели красны, буры
Клоки косматых трав, как пряжи рыжей шкуры.
В огне кустарники и воды как металл.*

*А груды валунов и глыбы голых скал
В размытых впадинах загадочны и хмуры.
В крылатых сумерках — намёки и фигуры...
Вот лапа тяжкая, вот челюсти оскал,*

*Вот холм сомнительный, подобный вздутым рёбрам.
Чей согнутый хребет порос, как шерстью, чобром?
Кто этих мест жилец: чудовище? титан?*

Автор «Поэмы о природе вещей», Тит Лукреций Кар, ставил под сомнение слиянное и нераздельное сосуществование человека и лошади в кентавре по той причине, что развитие лошади идет быстрее и она достигает зрелости к трем годам,

когда человек еще младенствует, а умирать должна на полвека раньше человека.

Помнится, в «Чонкине» Владимира Войновича, под сомнение ставится основание теории эволюции и ее энгельсовская политэкономическая интерпретация «О роли труда в процессе превращения обезьяны в человека»: «Ну, лошадь, лошадь, — сердился Чонкин на непонятливость Гладышева. — Скотина на четырех ногах. Она ж работает. А почему ж в человека не превращается?»

Выращенное в условиях Коктебеля геозверье Волошин оседлал и одомашнил, как Николай Михайлович Пржевальский свою лошадь:

*Покорилась тварь не добровольно,
Но по воле покорившего, в надежде
Обрести через него свободу.
Тварь стенает, мучится и ищет
У сынов Господних откровенья,
Со смиреньем кротким принимая
Весь устав жестокий человека.
Человек над тварями поставлен
И за них ответит перед Богом:
Велика вина его пред зверем,
Пред домашней тварью особливо.
«Тварь»*

И здесь уже не место «всеразъедающей иронии».

Одомашнить — значит приручить. В биографии кентавра Хирона был период сближения его с Аполлоном, от которого среди прочих искусств он постиг и собаководство. В двух словах напомним историю приручения дикой, но плацентарной, как и человек, Динго — по одной из версий — потомка волка: *Canis lupus dingo*.

Эти животные, как и аборигены попали в Австралию из Юго-Восточной Азии в процессе миграции. Стая динго превосходила племя аборигенов в ловкости, выносливости, быстроногости, но последнее умело охотиться «с оружием в руках» (прямохождение-бипедия-ортоградность).

Сначала произошла псевдодоместикация: аборигены отнимали и выращивали щенков, а затем была достигнута «бескровная» корпоративность в добывании — и добывании дичи, или, как у Волошина, — вольная покорность в надежде обрести через это свободу, или, как еще недавно говорилось, — «за чечевичную похлебку».

Но сколько кентавра не приручай, он все равно в лес смотрит, или, как у прежнего коктебельца Евгения Бачурина, — «Шея просится в хомут, а душа — на волю!».

Лесные чащи были превращены в *кентавродром* Гераклом, который в конце концов кентавров и истребил. И у Волошина в переводе Хозе Мариа Эредиа «Бегство кентавров» — от преследующей их «гигантским ужасом» тени Геракла.

В начале века, задолго до эмиграции, молодой Иван Алексеевич Бунин создал образ, преследуемого собачьим гоним затравленного оленя, который, как номерной знак на бегунах, мог бы быть на всех преследуемых беглых и ссыльных мира сего:

*О, как легко он уходил долиной!
Как бешено, в избытке свежих сил,
В стремительности радостно-звериной,
Он красоту от смерти уносил!*

Бегство кентавров — не есть «бегство от свободы» по Эриху Фромму:

*Но мы, свободные кентавры,
Мы мудрый и бессмертный род,
В иные дни у берега вод
Ласкались к нам ихтиозавры.
И мир мельчал. Но мы росли.
В нас бег планет, в нас мысль Земли!*

Заканчивает Максимилиан Волошин стихотворение «Письмо».

«В нас бег планет, в нас мысль Земли!... — Это в Вас, Максимилиан Александрович, а не в нас» — возразил бы Волошину Бунин. Но волошинская «Corona astralis» — вне всяких возражений — знак планетарного — не плацентарного,

астрального изгнанничества человека, вынуждаемого «к чужим шатрам идти просить свой хлеб»:

*Изгнанники, скитальцы и поэты —
Кто жаждал быть, но стать ничем не смог...
У птиц — гнездо, у зверя — тёмный лог,
А посох — нам и нищенства заветы.
Долг не свершён, не сдержаны обеты,
Не пройден путь, и жребий нас обрѣк
Мечтам всех троп, сомненьям всех дорог...*

Дромомания, вагабондаж, уход, побег, — неодолимое влечение из дому («Но час настал, и ты ушла из дому» и «в сырую ночь ты из дому ушла» — Александр Блок) всех носителей беглой русской речи, а также языка и литературы тех, кто: *беглые — гласные — несогласные*, — от пушкинского «усталого раба, давно замыслившего побег», до дивно близкой к нам «любви к отеческим гробам» некро-славяно-филов; от написанных в Коктебеле Николаем Гумилевым «Капитанов» до кораблей, которым не нужна пристань, — «бродягам и артистам» Александра Вертинского; от ухода Льва Николаевича Толстого и возвращения Алексея Николаевича Толстого и остальных возвращенцев-невозвращенцев, — все, все это — в предрешенности волошинской астральной универсалии: «изгнанники, скитальцы и поэты».

Бездна или миграция вглубь

Посвящение С. Дурылину

*Я не сам ли выбрал час рожденья,
Век и царство, область и народ,
Чтоб пройти сквозь муки и крещенье
Совести, огня и вод?*

*Апокалиптическому Зверю
Вверженный в зияющую пасть,
Павший глубже, чем возможно пасть,
В скрежете и в смраде — верю!*

*Верю в правоту верховных сил,
 Расковавших древние стихии,
 И из недр обугленной России
 Говорю: «Ты прав, что так судил!
 Надо до алмазного закала
 Прокалить всю толицу бытия.
 Если ж дров в плавильной печи мало:
 Господи! Вот плоть моя».*
 «Готовность».

Памяти А. Блока и Н. Гумилева
*С каждым днём всё диче и всё глуше
 Мертвенная цепенеет ночь.
 Смрадный ветер, как свечи, жизни тушит:
 Ни позвать, ни крикнуть, ни помочь.*

*Тёмен жребий русского поэта:
 Неисповедимый рок ведёт
 Пушкина под дуло пистолета,
 Достоевского на эшафот.
 Может быть, такой же жребий выну,
 Горькая детоубийца — Русь!
 И на дне твоих подвалов сгину,
 Иль в кровавой луже поскользнусь,
 Но твоей Голгофы не покину,
 От твоих могил не отрекусь.*

*Доконает голод или злора,
 Но судьбы не изберу иной:
 Умирать, так умирать с тобой,
 И с тобой, как Лазарь, встать из гроба!*
 «На дне преисподней».

Впервые стихотворение «На дне преисподней» было опубликовано с пометой: «Ноябрь 1921, Феодосия, в больнице» — в двадцать третьем году во втором номере «Новой Русской Книжки», журнале, издаваемом в Берлине сверстником и давнишним приятелем Волошина, — профессором-невозвращенцем Александром Яценко.

По характеристике Ильи Эренбурга, журнал этот был «клочком ничейной земли», на котором встречались писатели эмиграции и метрополии.

Немного текстологии. Приведу не вошедшие в окончательно редакцию варианты отдельных строф.

Эпиграф: «И дернул же меня черт родиться в России с умом и с талантом... А. Пушкин».

*Кровь и голод. Убежал. Расстрелян.
Гумилев казнён. Задохся Блок.
Бедственно-бессмыслен и бесцелен
Разрастающийся эпилонг.*

*Угораздило же нас родиться
На Руси с талантом и с умом,
Чтобы лбом о стены биться
В отчем доме смрадном и пустом.*

*Кто не скрывается в чуждые пределы —
Всех сотрёт неотвратимый рок:
Гумилев казнён. Задохся Блок.
Голод, кровь, уособица, расстрелы...
Неисповедимый путь ведёт
На Руси провидца и поэта...*

* * *

*С каждым днём всё диче и всё глуше
Над Россией цепенеет ночь:
Смрадный ветер, как свечи, жизни тушит.
Ни позвать, ни крикнуть, ни помочь.*

*Слух ползёт, что Гумилев расстрелян.
В Петербурге задохнулся Блок.
Те бегут: бессмыслен и бесцелен
Нескончаемый мартиролог.*

*Головой сквозь стены не пробиться
В этом доме спёртом и немом —
Тем, которых дернул чёрт родиться
На Руси с талантом и с умом.*

*Может быть, такой же жребий выну,
Горькая детоубийца — Русь,
И на дне твоих подвалов сгину
Иль в кровавой луже поскользнусь,
Но твоей темницы не покину,
От твоей судьбы не отрекнусь.*

*Страстно верю верую поэта,
Что судьба недаром нас ведёт —
Пушкина — под дуло пистолета,
Достоевского — на эшафот.*

*Доканает голод или злоба,
Чёрный мор или палач тупой —
Погибать, так погибать с тобой,
И с тобой, как Лазарь, встать из гроба.*

* * *

*Труден подвиг русского поэта,
И судьба недобрая ведёт
Пушкина под дуло пистолета,
Достоевского — на эшафот.*

*Может быть, сей жребий тоже выну,
Тёмная, обугленная Русь,
И на дне твоих подвалов сгину,
Иль в кровавой луже поскользнусь.*

*Доконает ли тупая злоба,
Голод, мор, топор иль штык лихой, —
Волю умереть с тобой,
И с тобой, как Лазарь, встать из гроба.*

24 октября 1921 г.

Строфа, вошедшая в основной текст, впервые встречается среди черновиков Волошина в начале июля двадцать первого года, а законченный вариант текста — в январе двадцать второго года.

Есть тексты, дата под которыми, — не более, чем дань академической традиции. Но, здесь, — дата не просто затексто-

вая или внетекстовая реалья, не семантическая периферия в пространстве текста, она — элемент смыслообразующий.

День, когда «задохнулся» Александр Блок, известен точно — седьмое августа двадцать первого года; день, когда был «казнен» Николай Гумилев, — по одним источникам — двадцать пятое, по другим — двадцать седьмое августа двадцать первого года.

Так или иначе, начало работы над стихотворением — *начало июля двадцать первого* года — отстоит от этих событий на месяц и более, а завершение — на четыре-пять месяцев. В этом промежутке и возник вариант с *посвящением памяти*. В этом же промежутке появились и первые реакции на смерти двух поэтов.

Не говорю о волне самоубийств «блокисток». Имена поэтов, никогда не бывших близкими друзьями при жизни, а, временами, бывших просто враждебными друг другу, стали неразлучны: «неисповедимый рок» свел их воедино.

Два этих имени, лишь рядом, одно за другим стоящие и ни более — в частности, такие названия мемуарным очеркам дали Георгий Иванов, Всеволод Рождественский, Владислав Ходасевич, уже предполагали «немой укор». Они открывают собой мартиролог жертв, начало репрессий среди первых русских поэтов XX века. Виктор Серж (Виктор Львович Кибальчич), встречу которого в тридцать втором году в Коктебеле с Максом Волошиным Мария Степановна Волошина назвала «последней радостью для Макса», в «Воспоминаниях революционера» говорил о таганцевском деле:

«ЧК стала гораздо менее доступной, чем раньше... Один наш друг отправился в Москву, чтобы задать Дзержинскому вопрос: «Можно ли расстреливать одного из двух или трех величайших поэтов России?» Дзержинский ответил: «Можем ли мы делать исключение для поэта?» Волошина называли «первым после смерти Александра Блока поэтом пореволюционной России», одним из первых etc.

«В начале сентября мы узнали, что Гумилев убит. Письма из Петербурга шли мрачные, с полунамёками, с умолчаниями» — писал Владислав Ходасевич в воспоминаниях «Гумилев и Блок».

Когда же эти слухи настигли Волошина?

«Здесь в комнатке Лампси я узнал последние вести с севера: смерть Блока и расстрел Гумилева. В эти дни в этой комнатке я написал стихи их памяти и стихотворение «Готовность», — вспоминал Волошин. В комнате Лампси — в доме Ивана Константиновича Айвазовского в Феодосии Волошин поселился предположительно *в октябре двадцать первого года* и в этом же месяце начал работать над стихотворением.

«Полунамеки и умолчания», при упоминании имени расстрелянного Гумилева, о которых говорит Ходасевич в письме, не тщетная предосторожность, а реалии того времени. «Когда написал Ходасевич <из эмиграции>, — вспоминала Мария Степановна, — Макс сказал: больше не надо писать <заграницу>».

По горячим следам написанное волошинское стихотворение не было политической наивностью, горячностью, выпадом, фрондой, неосмотрительной поспешной реакцией на гибель Гумилева, которого он мог застрелить на дуэли, на десятилетие опередив ВЧК.

Анна Ахматова, не простившая Волошину дуэли с Гумилевым, говорила Павлу Лукницкому, что Волошин «двуличничает» в посвящении ему посмертного стихотворения. Мотивация написания этого стихотворения, возможно, наиболее убедительна — в одной из дневниковых записей Волошина, сделанных за год до смерти:

«Вчера за работой вспомнил уговоры Маруси: «Давай повесимся». И невольно почувствовал всю правоту этого стремления. Претит только обстановка — декорум самоубийства. Смерть, исчезновение — не страшны. Но как это будет принято оставшимися и друзьями — эта мысль очень неприятна. Неприятны и прецеденты — Маяковский, Есенин... Лучше «расстреляться» по примеру Гумилева. Это так просто: написать несколько стихотворений о текущем, о России по существу. И довольно. Они быстро распространятся в рукописях. Все-таки это лучше, чем банальное «последнее» письмо с обращением к правительству или друзьям. И писать обо мне при этих условиях не будут. Разве через двадцать пять

лет? И дает возможность высказаться в первый и последний раз. А может... имея в запасе такой исход, я найду достаточно убедительные доводы, чтобы меня отпустили в Париж. Только, чтобы из этого не сделать шантаж.

Пока ничего и никому об этом не говорить. Но стихи начать писать».

«*Расстреляться*» по примеру Гумилева — «*высказаться в первый и последний раз*». Думается, что такой соблазн — «*в эти дни душа больна одним. / Испытанием — развоплотиться*» Волошин испытывал не однажды, и стихотворение «На дне преисподней» — одна из таких попыток, скрытый суицидальный импульс, влечение к смерти: «*волю умереть с тобой*».

Позднее, на самоубийство Сергея Есенина он откликнулся приглашением в Коктебель его вдовы: «Милая Соня, весть о гибели Есенина, которая лишь сегодня дошла до Коктебеля, глубоко потрясла меня — и, быть может, не столько судьбою запутавшегося и растерявшего себя «слишком русского» человека, даже не извечным трагическим концом русского поэта, которого «угораздило родиться в России с умом и талантом», сколько роком, тяготеющим над твоей жизнью<...>».

И в письме к ее матери, Ольге Константиновне Толстой: «Я лично не знал и никогда не видал Есенина. В стихах его мне чувствовался поэт. Несомненно подлинный, но не глубокий, неумный и часто лишенный художественного такта. Смерть его поразила как новое звено в общем мартирологе русских поэтов: частное выявление общей судьбы талантливых русских юношей. Когда начался газетный апофеоз после его смерти и посыпались все лживые и преувеличенные статьи, стало горько и обидно за него.

Как русская публика ненавидит своих поэтов живыми: издевается и клеветает и выдумывает гнусные сплетни, а мертвеньких, удушенных, заспанных русскою жизнью, качает на руках и возносит как попрек оставшимся в живых».

Тяготение темного жребия — астральное влечение к смерти, *мортидо* психоанализа, противоположное *либидо*, восхо-

дят к бинарной оппозиции — «эрос — танатос», «жизнь — смерть».

Собственно, и Гумилев был расстрелян, выказав на допросе, не противясь «неисповедимому року», лишь намерение принять участие в мятеже, лишь готовность стать на сторону жертв. Так ведь еще Пушкин признавался в своем *возможном* участии в восстании декабристов. И эта связь очевидна, например, — в стихотворении Владимира Набокова «Памяти Гумилева»:

*Гордо и ясно ты умер, умер, как Муза учила.
Ныне, в тиши Елисейской
С тобой говорит о летящем
Медном Петре и о диких ветрах африканских — Пушкин.*

Георгий Иванов публикации «Блок и Гумилев» — предпослал эпиграф из Волошина (измененный, написанный по памяти) :

*Страшен жребий русского поэта —
Всех неумолимый рок влечёт...*

О «страшном жребии русского поэта». Приведу здесь хрестоматийное стихотворение Вильгельма Карловича Кюхельбекера «Участь русских поэтов», но, главным образом, из-за его концовки:

*Горька судьба поэтов всех племён;
Тяжеле всех судьба казнит Россию;
Для славы и Рылеев был рождён;
Но юноша в свободу был влюблен...
Стянула петля дерзостную выю.*

*Не он один; другие вслед ему,
Прекрасной оболыщённые мечтою, —
Пожалися годиною роковою...
Бог дал огонь их сердцу, свет уму,
Да! чувства в них восторженны и пылки:
Что ж? их бросают в чёрную тюрьму,
Морят морозом безнадежной ссылки...*

*Или болезнь наводит ночь и мглу
На очи прозорливцев вдохновенных;
Или рука любезников презренных
Шлёт пулю их священному челу;*

*Или же бунт поднимет чернь глухую,
И чернь того на части разорвёт,
Чей блещущий перунами полёт
Сияньем облил бы страну родную.*

Заключительное четверостишие объясняет недоумение Александра Ивановича Куприна — и объясняется им:

«Как мог Гумилев — один из самых независимых, изящных, вольных и гордых людей, каких только приходилось встречать и можно вообразить, — как мог он выносить всю нищенскую тоску, арестантскую узость, подлейшую, унижительную зависимость днем и ночью от любого вздорного случая и любого упившегося властью скота? Что перетерпела его крылатая душа в эти черные дни, обратившие великую страну в сплошной вонючий застенок?

Никогда, ни в каком заговоре он участвовать не мог. Заговор — это стая. В обезумевшей, голодной, холодной России, заведенной за пределы того, что может стерпеть человек, — заговор из пяти людей уже не заговор, а провал и катастрофа. А у Гумилева был холодный, скептический и пронизательный ум. Я не думаю также, чтобы он удостоил допросчиков каких-нибудь разъяснений по поводу своего политического символа веры.

Но, знаете, сорвется иногда у человека, умеющего глубоко презирать и холодно ненавидеть, сорвется, может быть, даже совсем невольно, — всего лишь один, быстрый, как молния, пронзительный взгляд, но в нем палач мгновенно прочтет: и то, как он микроскопически мал, гадок, глуп, грязен и труслив в сравнении со спокойно стоящей перед ним жертвой, и то... что эта бесконечная разница пребудет во веки веков. И тогда конец.

Тогда неизбежна смерть избраннику, тому, кого сам Бог отметил при рождении прикосновением своего перста на возвышенную жизнь и ужасную кончину».

«К чему счастливой скотине какая-то *глубь* и *высь*?» — вопрoшала перманентная сиделица «вонючего застенка» Анна Баркова. Резоннно. К чему? А несчастной к чему?..

Сообщение ВЧК «О раскрытии в Петрограде заговора против Советской власти», где в середине расстрельного списка под №30 числился Гумилев, было опубликовано в «Петроградской правде» *первого сентября двадцать первого года*, и, если в этом был расчет на устрашение, то устроить таких, как Волошин, сие не могло.

Еще до приговора Гумилеву Волошин был приговорен в Крыму ЧК третьей дивизии к расстрелу: *«И сам читал в одном столбце с другими / В кровавых списках собственное имя». «Проскрипции, доносы и террор — / Вот достижения и гений революций!»* — горькая ирония волошинских «Путей Каина» и его горький революционный опыт.

В самом начале революции Волошин высказал пренебрежение к смерти в письме к Маргарите Сабашниковой:

«Я лично гтов ко всему. Мне почему-то уже много лет назад начала мерещиться такая эпоха, и я с первого же момента революции знал, что это начинается. <...> Но разве может быть что-нибудь страшно, если весь свой мир несешь в себе? Когда смерть является наименее страшным из возможных несчастий?»

Оппозиция «страха — бесстрашия», как предмет психологии масс, осмыслена Волошиным еще в годы первой русской революции, в частности, в его статье «Пророки и мстители». Одним из источников ее была книга Огюстена Кабанеса и Леонарда Насса «Революционный невроз», одна из глав в которой называется: «Презрение к смерти во время террора».

«Каждый политический деятель, каждый член Конвента, Трибунала, даже каждый журналист мог быть вполне основательно уверен в своей близкой смерти. Требовалась, очевидно, известная смелость, чтобы бросаться при таких условиях очертя голову на арену политической деятельности и во что бы то ни стало принимать участие в общественной борьбе.

Но политические страсти в человеке сильнее всякого благоразумия, и каждый в душе, наверное, питал тайную надежду, искусно лавируя, миновать «чашу неизбежного».

Не всем, однако, были даны в удел хитрость Фуше или счастье Карно. Большинство безропотно подчинялось судьбе и, не сопротивляясь, отдавалось увлекавшему всех потоку», — писали авторы.

В годы, когда режим был фатально тотален, Максимилиан Волошин был тотально фатален. Сразу после захвата власти большевиками он написал в письме к Юлии Оболенской: «От судьбы не уйдешь», готов «к разрушению дома и к сожжению библиотеки». А, спустя два месяца, — к Петровой: «У меня большой фатализм и я буду заниматься своим делом до последней минуты».

«Революция есть варварская форма прогресса, — утверждал Жан Жорес. — Как ни была бы она благородна, плодотворна и необходима, всякая революция будет всегда принадлежать к низшей, полуживотной эпохе человечества».

Волошин не по своей воле «опустился» «на дно преисподней», он оказался в этой «низшей и полуживотной» стадии распада и разложения, вернувшись весной шестнадцатого года, — кстати, как Гумилев двумя годами позже — из Европы.

Именно в стихотворении «На дне преисподней» Волошин клятвенно заверил «горькую детоубийцу Русь», вариант: *темная, обугленная*, — «твоей Голгофы (вариант: *темницы*) не покину». И не покинул...

Прозревая «из бездны, со дна паденья» «всестрастной свет», а «в самом косном и темном» — пленный «мировой дух», учуяв в бездне «ростки неведомого восхода», — Волошин жертвенно *верил!*

«Из самых глубоких кругов преисподней ТERRORа и Голода я вынес свою веру в человека», — сказано в волошинской автобиографии. И это — аллюзия на круги дантова «Ада». В письме к Павлу Флоренскому от ноября двадцать третьего года Волошин писал:

«Эти годы я часто и всегда с радостью соприкасался с Вашей мыслью. Последнюю весною вестью о Вас были «Мнимо-

сти в геометрии». Мысли Ваши о Дантовом миростроительстве были мне особенно ценны <...>».

«Из-под Голгофы — внутрь земли воронкой / Вел Дантов путь к сосредоточью зла», — говорит Волошин в главе «Космос» в «Путями Каина». Описывая спуск Данте с Вергилием «по кругам воронкообразного ада», о. Павел Флоренский пояснял: «Воронка завершается последним, наиболее узким кругом Владыки преисподней...»

Люцифер, Ариман, вся иерархия ангелов падших и демонов глухонемых» — насельники дна, мистический планктон, поднятый, по Волошину, со «дна преисподней», русской революцией.

Миграция внутрь

«... я внутренне готов ко всему. Еще в марте я знал, что будет террор, теперь знаю, что будет гораздо хуже — и в глубине тихая радость о неизбежном» — откровение Волошина способной понять его «изнутри» антропософке Елизавете Ивановне Васильевой — Черубине де Габриак — в его письме от ноября семнадцатого года. Статью о Черубине — о его мертворожденной Галатее Волошин назвал «Гороскоп Черубины де Габриак».

«Две планеты, — прозревал Волошин, — определяют индивидуальность этого поэта: мертвенно-бледный Сатурн и зеленая вечерняя звезда пастухов — Венера, которая в утренней своей ипостаси именуется Люцифером.

Их сочетание над колыбелью рождающегося говорит о характере обаятельном, страстном и трагическом. Венера — красота. Сатурн — рок. Венера раскрывает ослепительные сверкания любви; Сатурн чертит неотвратимый и скорбный путь жизни». О гороскопе самого Волошина точно сказано у Марины Цветаевой: «Макс сам был планета».

Тихо радоваться неизбежному, древнему слепому Року, неотвратимому и скорбному пути жизни — свойство тех, для кого реальность есть уже внутренне преодоленная иллюзия, чьи воления — и волнения не противятся судьбе (*Amor Fati*), как путеводительнице высшего духовного Я.

О странностях судьбы Волошин был начитан не только по линиям собственной ладони. «Какая странная судьба, которая меня привела к Штейнеру в девятьсот пятом году и теперь вновь приводит в девятьсот четырнадцатом, именно на это время уводя из России», — писал он из Базеля.

«Когда в нас действует интуиция, ноги сами несут нас туда, где мы в это время должны находиться», — известный постулат штейнеровской тайной науки. И его же: «Все, что бы человек ни делал, имеет ценность во всем ходе развития человечества».

Это суждение о ценности поступка для развития человечества человек столь же мало постигает познанием, как и действия своей судьбы. Это все законы того мира, которому принадлежал волошинский дух, или, как у Цветаевой: «Макс принадлежал другому закону», законопослушание которому было для него бесприкословным, на верноподданничество — «не от мира сего» — которому он присягал каждым своим жестом, словом, поступком.»

Destiny с английского — *судьба*, а *destination*, соответственно, место назначения.

В начале двадцать третьего года в берлинской газете «Руль» была опубликована рецензия Лоллия Львова на волошинские «Стихи о Терроре», где голос Волошина «из глубины России», «с самого дна преисподней», назван голосом «одного из наших лучших современных поэтов». Это не единственный отклик, где волошинские стихи о современности возведены в ранг национального первенствования. Волошин эти оценки тоже знал.

Первое письмо из-за границы Волошин получил в начале сентября двадцатого года. Писала Нюша, Александра Николаевна Иванова, из Парижа. Письма Волошина в Европу в большинстве своем не доходили. В одном из них, к Гольштейн, он писал:

«Для нас эти годы прошли благополучно, хотя фронт несколько раз перекатывался через нас, мы видели и бомбардировки и десанты, но никуда не убежали и, может быть, это и сохранило до сих пор нетронутым наш дом. Мама очень

постарела за эти годы, больна эмфиземой легких и не могла бы никуда бежать.

Правда, здесь мы были свободны от давящего и однообразного ужаса большевицкого режима, какой господствует на севере, но зато здесь мы испытали все прелести гражданской войны со всем ее разнообразием. Жестокости расправ с обеих сторон превосходят всякое вероятие и совершаются походя, как самая обычная вещь. Закон уподобления противников действует во всей полноте».

В январе двадцать третьего года мать Волошина умерла, что не могло более удерживать его в России. Начать хлопоты об отъезде означало — оставить сцену, где разыгрывается трагедия мирового масштаба, отказаться от *амплуа* «соучастника судьбы, раскрывающего замысел драмы», той *роли*, которую Волошин провозгласил в стихотворении «Доблесть поэта», и на которой настаивал, как «многолетнее», по Блоку, «писательское растение», корнями вросшее в русский символизм.

«Растение ткется инспирацией, — говорил в одной из лекций Рудольф Штейнер, — музыкой сфер. Эта музыка впитывается семенем и затем выращивает из него, развертываясь, новое растение. Поскольку «я» Земли есть совокупность «я» растений, находящихся в средоточии Земли, то в инспирации человек чувствует себя единым с земной планетой».

Когда наконец дошло письмо из Берлина от подруги Волошина Татиды Цемах, в ответном письме к ней от первого марта двадцать третьего года он описал три последних года своей жизни:

«Иннокентий Серафимович (*Кожевников, командарм, в ту пору получивший назначение Полномочного дипломатического представителя в Литве, предложивший Волошину устроить выезд в Берлин. — Б.Г.*) приехал ко мне десятого января — на другой день после похорон Пра. Подумай только: разве я мог тотчас же бросить все и ехать вместе с ним?

С одной стороны мне не на кого было бросить дом: Коктебель теперь полная пустыня — все дачи разорены, все жители разбежались, все неболгарское население вымерло от

голода. Через три дня после отъезда владельцев от дома не остается ничего кроме стен.

Я же сам уже два года не могу дорваться до работы и реализовать то, что у меня давно задумано и душит меня. А замыслы большие. Их надо реализовать прежде, чем видеть новое, а то это так и останется не высказанным.

Реализовать их можно только в Коктебеле: только здесь у меня есть угол, где меня не тревожат человеческими делами — в городах, где бы я ни был, меня буквально раздрают на части: это было все эти годы, несмотря на мою болезнь, несмотря на мое валяние по санаториям.

И это первые месяцы, что я могу прожить у себя, так как я до лета обеспечен американскими посылками. Ты была первой, кто обо мне подумал, а после тебя и другие вспомнили обо мне. Это дало возможность Пра без лишений и без беспокойства о завтрашнем дне дожить свои последние месяцы.

Сейчас первые весенние дни в Коктебеле: море зеркально, теплынь, тишина и мне кажется, что в первый раз за три года, я не вижу перед собой умирающих от голода или тифа, холеры, мне не нужно сейчас же кого-то бежать спасать, хлопотать, зная, что каждая минута промедления может стоить смерти человеку.

Когда-нибудь я тебе расскажу все, что мне пришлось делать зимою двадцатого—двадцать первого года. Я был все время в самом сосредоточии террора и тщетно боролся совершенно одинокими силами с водопадом крови, который сшибал с ног.

Моя болезнь, конечно, возникла в связи с чрезмерным напряжением всех душевных сил. Мое единственное оружие была только воля. Я убедился в ее безмерном влиянии на человека, когда она является в форме мысленной молитвы *за человека*. Но возможно спасти единицы. А дело шло о тысячах. Психологические эффекты были фантастичны невероятно.

Можешь ты себе реально представить такие положения, при которых человек, облаченный в этот момент диктаторской властью, тебе, мужчине, из почтительности целует руку,

а коммунист, встречая на улице, просит: «Пожалуйста, не уезжайте из города — без вас слишком страшно». Уже теперь и здесь же, в той же самой обстановке, эти дни вспоминаются, как страницы фантастического романа.

Еще в молодости Волошин выписал из Генри Торро, автора работы «О долге гражданского неповиновения»: «Мы прежде всего должны быть людьми и после уже гражданами», что не однажды обнаруживал в своей позиции времен войны и революции.

К чему привела такая позиция самого трансценденталиста Торро — К уединению в выстроенной им на берегу Уолденского пруда хижине. Это — аналог дома на берегу коктейльского залива, в котором тщетно стремился к уединению Волошин, и, заложив первый камень которого в девятьсот третьем году, сам оставался его заложником до конца дней.

Миграция Торро — уход от цивилизации, схожее русское понятие — *глубинка* — это еще миграция *вглубь*, а не *внутри*. В отличие, скажем, от другого американца, писателя Генри Джеймса, которого вместе с братом Вильямом, знаменитым впоследствии психологом, их экстравагантный папенька привез в юношеском возрасте обучаться в Париж, и который, впоследствии, таки эмигрировал в Европу из Америки.

Эту эмиграцию я назвал бы *миграцией вовне*. Оба этих вида «американской» миграции, все-таки, — *по горизонтали*. Классификация миграций, принятая в современном мире в основном не идет далее демографических различий: в пределах страны — *внутренние* миграции, за черту государственной границы — *эмиграция*, если речь идет о том, что в нынешней постсоветской ситуации называют *ПМЖ*.

Миграция внутри не соотносится ни с одной из миграций в пространстве: географическом, кантовском времени-пространстве, социальном (Пьер Бурдьё) etc., явленном, как сказал поэт, «весомо, грубо, зримо». Она — в материальном мире не определяется местонахождением мигранта, *куда* бы он не перемещался, она — *за гранью материального мира* вообще. «*Мой единственный идеал — это Град Божий. Но он*

находится не только за гранью политики и социологии, но даже за гранью времени»¹.

Мария Степановна Волошина в середине пятидесятых имела общение со святителем Лукой — архиепископом Войно-Ясенецким, который, в проповедях того времени, говорил об оппозиции: «царство земное — Царство Небесное»: «А так ли живут люди мира сего в своем огромном, подавляющем большинстве? Нет, нет, совсем не так: они не помышляют о Боге, они не стремятся к вечной жизни и не верят в нее; им нужды нет до Царства Небесного, ибо все мысли, стремления их, все желания направлены к одному только царству земному.

Не нужна им вечная жизнь, им нужно только как можно лучше устроить земную жизнь, и все их стремления, все мысли направлены только к этому».

И он же — об оппозиции «тело — дух»:

«Все, что происходит в душе человека в течение его жизни, имеет значение, и необходимо только потому, что вся жизнь нашего тела и души, все мысли, чувства, волевые акты теснейшим образом связаны с жизнью духа. В нем отпечатываются, его формируют и в нем сохраняются все акты души и тела. Под их формирующим влиянием развивается жизнь духа и его направленность в сторону добра или зла.

Жизнь мозга и сердца нужны только для формирования духа и прекращаются, когда его формирование закончено или вполне определилось его направление».

Это сказано священнослужителем и нейрохирургом, сделавшим тысячи операций.

Достиг ли Волошин идеала, Града Божьего, — ответ знает только Господь, но стремлением к нему отмечена его жизнь, безусловно.

Еще с начала революции Волошин говорил, что живет «очень религиозно». В период между «февралем» и «октябрем», в начале лета семнадцатого он писал Петровой:

¹ Максимилиан Волошин. «Россия Распятая». — Ред.

«Я не могу сказать, чтобы мне почему-либо рабочий класс был ближе, чем буржуазный: мне вообще все классовые деления по средствам и по занятиям неприятны, так как кажутся совершенно бессмысленными и условными, не имея никакого отношения к духу. А в духовных иерархиях имеет значение только лучшее, отборное, то есть аристократизм. Конечно, только его я и признаю».

Владислав Ходасевич назвал Волошина «мистическим гурманом»; в этом волошинском признании — следы не изжитого еще эстетизма, того же дендизма, но, только, — духовного. Аристократ духа, Волошин, тем не менее, был вынужден, оставаясь в России, пройти через устроение земных дел, совсем не аристократами, а антиподами их.

Буржуазный Запад, хорошо знакомый Волошину, годами жившему там, тоже не казался ему ни социальным, ни, тем более, духовным раем. «Социальный рай на земле находится в полном противоречии с «царством Божьим внутри нас», — писал он в «России Распятой».

Но своей эмиграции на Запад он не исключал. На Западе оказались многие ближайшие друзья и просто знакомые, это те, кого знал Волошин, те же, кто знал *Волошина* при его известности среди уехавших на Запад — неисчислимы.

Весной двадцатого Волошин обращался к художнику Чачбе Шервашидзе с просьбой издания книги «Пламена», которую тот согласился устроить в Лондоне в издательстве Сытина:

«Мне очень важно ее издать за границей по двум причинам: Первая. Невозможность издать ее полностью в России в ближайшие годы и желание ее закрепить немедленно. Вторая. Необходимость заработка, хотя бы та сумма, которую я смогу за нее получить, и осталась бы за невозможностью переправить ее в Россию за границу — *кто знает, не придется ли мне через некоторое время очутиться там самому*». (*Курсив мой — Б.Г.*)

Подобные мотивы — в письмах и к другим «западным» корреспондентам Волошина тех лет: Татиде Цемах, Ариадне Тырковой-Вильямс, Яценко, Гольштейн, Цетлин etc. Далеко

не все письма сохранились. Так, об одном из них Роман Гуль говорил в интервью Джону Глэду в начале восьмидесятых:

«Это письмо было потрясающим. В книге я привожу точную дату его. Неожиданно в «Новую русскую книгу» пришла дама, я ее как сейчас вижу: удивительно приятная, типичная русская интеллигентка, красивая, я бы сказал, очень скромно одетая, сдержанная.

Вошла, спрашивает: «Могу я видеть профессора Яценко?» Я говорю: «Пожалуйста». Ну и Александр Семенович ее принял, а она ему сразу и говорит: «Я вам привезла письмо от от Максимилиана Александровича Волошина». Яценко прямо подпрыгнул: «Как, от Макса?» Он с ним был очень дружен по России, и в Париже были вместе.

Письмо это мне Яценко прямо тогда и прочел. Оно было страницами на сорока пяти, совершенно потрясающее описание террора в Крыму по занятии его красными. Террор, как известно, проводился Белой Куном, помощницей его была Землячка, Розалия Залкинд, известная большевичка, такая фурия большевизма. И они там перестреляли не то сто, не то сто пятьдесят тысяч бывших белых.

Волошин рассказывает в этом письме, что Бела Кун, остановился у него, и, так как Волошин был человек не от мира сего, он покорил даже этого убийцу — Белу Куна. Тот с ним в какой-то мере подружился и разрешил ему вычеркивать каждого десятого человека из проскрипционных списков, и Волошин вычеркивал со страшными мучениями, потому что он знал, что девять остальных будут зверски убиты.

Волошин описывал, как он молился за убиваемых и убивающих, и письмо это было совершенно потрясающим. Яценко сделал глупость, что он его слишком многим читал, таскал, и в конце концов этот уникальный исторический документ пропал. И Яценко понял, что кто-то его украл».

В статье девятьсот восьмого года «Апофеоз мечты и смерти», сравнивая Кириллова, героя «Бесов» Федора Михайловича Достоевского, с героем Вилье де Лиль-Адана, Акселем, Волошин произносит слова, которые могут быть названы и

его, Волошина, символом веры: «человеческое я есть единственный путь к Богу, который поэтому ведет всегда *внутрь*, а не *вовне*» (*курсив мой* — Б.Г.).

Это было сказано Волошиным уже членом масонской ложи, но еще не членом Всеобщего антропософского общества. Вступил он в него в тринадцатом году.

«*Весь трепет жизни всех веков и рас / Живет в тебе. Всегда. Теперь. Сейчас*» — заключительный аккорд «*Дома Поэта*», его, поэта, символ веры.

В одном из незаконченных набросков, в котором представлены рассуждения о природе искусства, Волошин говорит о «преображении» внешнего мира посредством искусства «во внутреннее», и заключает, что «наш дух воплощен на земле для того, чтобы спасти вещество, для того, чтобы весь внешний мир прошел сквозь наш внутренний и в нем преобразился, им освятился. Поэтому в конечных своих достижениях идеал религиозный и идеал эстетический совпадают».

Неявным источником многочисленных волошинских высказываний о *внутреннем* был Рудольф Штейнер и, в частности, его Акаша-хроника, — «святое писание» для Волошина-мистика.

За год до вступления в Антропософское общество «летопись мира», унаследованная плотью человека: «*Плоть человека — свиток, на котором / отмечены все даты бытия*» была, как палимпсест, развернута Волошиным в текст:

*Я люблю тебя, тело моё —
Оттиск чёткий и верный
Всего, что было в веках.
Не я ли
В долгих планетных кругах
Создал тебя?
Ты летопись мира,
Таинственный свиток,
Иероглиф мирозданья,
Преображенье погибших вселенных.
Ты моё знамя,*

*Ты то, что я спас
Среди мировой гибели
От безвозвратного небытия.
В день Суда
Я подыму тебя из могилы
И поставлю
Пред ликом Господним:
Суди, что я сделал!*

У него же: «Наше „я“ — свиток. Наше тело — летопись мира. Оно есть точный отпечаток всей нашей эволюции во Вселенной. Искрой сознания освещены только самые последние строки этого гигантского свитка.

Если бы мы могли развернуть его, то в извилинах нашего мозга раскрылась бы вся человеческая история; если бы мы смогли пройти сознанием по всем разветвлениям нашей нервной системы, то мы бы узнали изнутри историю царства позвоночных, в кровеносной системе угадали бы волны, течения, приливы и отливы древнего океана — праотца жизни, в строении костного нашего остова нам открылась бы вся геологическая история земного шара, а еще глубже, в плодотворяющих и оплодотворяемых клеточках, мы открыли бы кружения солнца и пляски вселенных.

И надо сказать, что все факты внешнего опыта и исследования становятся для нас творческими и живыми лишь тогда, когда мы, хотя бы смутно, нащупаем их место в этой летописи внутреннего „я“» («*Театр как сновидение*»).

Когда и где зародился мистицизм Волошина? Ответом на этот вопрос могут быть слова Вячеслава Иванова из «Автобиографического письма»: «Как только очутился я за рубежом, забродили во мне искания мистические и пробудилась потребность сознать Россию в ее идее».

Но в отличие от Вячеслава Иванова, отвергнутого Штейнером изначально, Волошин был им благожелательно принят и, за десятилетие, с девятьсот пятого до девятьсот пятнадцатого года, до известной степени, приближен.

В библиотеке Волошина, — кроме книг Рудольфа Штейнера, — книги классиков «тайного знания», оккультные журналы на немецком и французском языках, а русский «Вестник теософии» представлен первыми тремя номерами за девятьсот восьмой год и двенадцатью номерами за пятнадцатый-шестнадцатый годы.

Когда в Петербурге вышел первый номер «Вопросов теософии», в конце девятьсот седьмого года, Волошин написал статью «О теософии». Вот несколько выдержек из нее, объясняющих подходы Волошина-мистика к «внутреннему миру»:

«Есть „тайное знание“ и существуют пути, которые ведут к нему. Существует иное познание, чем познание научного мышления. В то время, как положительная наука, избрав себе пределом мир, постигаемый внешними чувствами, познала его математически, измерила его числом и утвердила свое господство над ним в ряде химических, механических и физических формул, существует иная «тайная наука», которая, отказавшись от познания обманчивых форм внешнего мира, избрала путь погружения внутрь духа своего, и в этих внутренних зеркалах души открыла мир, отраженный иначе, и иную сторону законов, управляющих ими.<...>

На конечных ступенях познания нет и не может быть противоречия между тем, что в настоящее время называется наукой и оккультизмом. Но в настоящую историческую эпоху они идут разными путями и между ними существует вражда неотвратимая.

Сознанию представляется логичным и неизбежным, что внутренний, психический мир человека подчинен таким же стройным законам взаимоотношений сил, как и мир внешний. Внутреннее созерцание должно открыть такие же незыблемые законы для мира души, какие внешнее созерцание открывает для мира природы».

Оппозиция: «Волошин-мистик — Волошин-христианин» — тема архисложная, превосходящая даже, упомянутую им, «антиномию Кантова ума». Привести эти противоречия в логическое, стройное единство, цельность, непротиворечивость, а его

эзотерику — в доступную экзотерику — совершить очередное насилие над волошинским духом.

Тема «бегства» от братней распри во внутреннее *убежище*, недостижимое извне пространство духа, прозвучала, не столь явно, как у Волошина, у Александра Блока в «пушкинской» речи, произнесенной за полгода до смерти.

В его словах о «бездонных глубинах духа, где человек перестает быть человеком, на глубинах, недоступных для государства и общества, созданных цивилизацией».

Библейская мудрость гласит: «Сія бѣжащаго от гнѣва братня праведника настави на стези правы и показа ему царствіе Божіе и даде ему разумъ святыхъ, почте его въ трудѣх и умножи труды его». («Праведного, бежавшего от братнего гнева, она, Мудрость, наставляла на правые пути, показала ему царство Божие и даровала ему познание святых, помогала ему в огорчениях и обильно вознаградила труды его». Книга Премудрости Соломона, 10 : 10).

В «Добротолубии», книге, которую Волошин читал, почитал, а бесчисленный гость зачитал — из пяти томов на полке остался только единственный второй том, Святой Антоний Великий дает толкование евангельскому изречению «*Царствие Божие внутрь вас есть*»:

«Переходят с одного места на другое, чая найти место, где нет диавола; но встречая искушения и там, куда перешли, удаляются в иное место. Но кто знает, что есть брань, тот борется с Божией помощью там, где живет, и не ищет другого места. <...> мы, монахи, исшедшие из мира, взявшие крест свой, по заповеди Господа нашего, и ему последовавшие, должны пребывать в одном месте, и заботясь единственно о спасении душ своих, переносить всякого рода встречающиеся там брани.

По любви к Богу и ради исполнения воли Его, которое состоит в соблюдении его заповедей, нам должно, где бы мы ни были, терпеливо переносить все брани и искушения, будут ли они от страстей, или от демонов, или от людей. Но эти, не искусные в брани, не привыкшие сносить никакой тяготы, спешат в другие места, ожидая найти покой от бра-

ни, и убежище от помыслов, переселяясь с одного места на другое, и из одной страны в другую. <...>

Царствие Божие внутри вас есть, то есть. Я в вас обитаю. Ибо Царствие Божие есть Христос, Который всегда в нас обитает. <...>

Итак, если мы в Боге обитаем, и сами есмы жилище Ему, то не будем оставлять Господа нашего, во время искушений, бед и браней, и переселяясь инуды, не будем искать себе помощи и убежища от стран и мест; но на своих пребудем местах, умоляя Господа, в нас обитающего, подать нам помощь и избавить нас».

Я начал эту тему с двоemiрия символистов, к нему же вернусь в завершение.

У представителей русского символизма, особенно у так называемых «соловьевцев» — Андрей Белый, Александр Блок, Сергей Соловьев и другие — идея двоemiрия уживалась с идеей всеединства; преимущественно в значении, которое ей придавал Владимир Сергеевич Соловьев, с его идеалами соборности, богочеловечества, теократии.

На гносеологическом уровне слияние двух миров вело к безграничности, неразличению мира внешнего и внутреннего, света и тьмы, ада и рая и так далее. Например, у Александра Блока в прологе «Возмездия»:

*Жизнь — без начала и конца.
Нас всех подстерегает лучай.
Над нами — сумрак немилучий,
Иль ясность Божьего лица.
Но ты, художник, твердо веруй
В начала и концы. Ты знай,
Где стерегут нас ад и рай.*

Андрей Белый в полемике с Эмилом Карловичем Метнером, автором «Размышлений о Гёте», отдельный параграф в своей штейнерианской апологетике — «Рудольф Штейнер и Гёте в мировоззрении современности» — посвятил отграничению мира внешнего от мира внутреннего, неба верхнего от неба нижнего.

В воспоминаниях о Волошине Андрея Белого есть образ поразительной точности:

«И сама могила его, влетевшая на вершину горы, есть как бы расширение в космос себя преобразующей Личности».

Лето, в которое это было сказано, в Коктебеле было первым, когда Волошин, с его могилой на вершине Кучук — Янышар, был уже символом пространства, *гео*-логическим завершением коктебельской бухты. В то лето в Коктебеле было ощутимо присутствие Данте: благодаря Осипу Мандельштаму, «работавшему» (писательский жаргон тех лет) там свой «Разговор о Данте». Еще раз приведу «дантевскую» строку из волошинского «Космоса»:

«Из-под Голгофы — внутрь земли воронкой / Вел Дантов путь к сосредоточью зла».

Если, по Павлу Флоренскому, нижним завершением воронки является ее «последний, наиболее узкий круг Владыки преисподней», то, по Андрею Белому, «расширяющаяся в космос себя преобразующая личность» Волошина есть ее противоположная, идущая в верхнюю бездну, *высшая* часть.

Если последовать далее за Андреем Белым, автором бесчисленных графических схем, то символической моделью такой «воронки» может быть изображение, стоящего двумя ногами на земле человека, простершего руки к Небу.

Наподобие литургийного воздымания, когда священник воздевает руки Горе и трижды призывает Святого Духа.

Владимир Мощенко

Тогда ещё шёл век двадцатый...¹

Памяти друга Александра Ревича

Чтобы сразу же, без всяческих подступов к сути, отпустить пружину этой статьи и обнаружить цель ее исследования, начнем с того, с чего начинается Александр Ревич свою поэму «20 июня 1941-го»:

*В окно вагона ветер резкий
влетал, вздувая занавески,
равнина, оттеснив леса,
вращалась вроде колеса,
звенели ложечки в стаканах,
и слышались соседей пьяных
из коридора голоса,
стучали невпопад колёса,
им подпевал хриплоголосо
нестройный хор о том, как «спят
курганы тёмные», а следом —
«шумел камыш», и с этим бредом —
опять колёса невпопад,
мелькали путевые будки,
платформы, ветки чахлых крон,
и пыльный харьковский перрон*

¹ Поэмы Александра Ревича печатались в № 241–244 журнала «Грани» («Тарусские страницы») — Ред.

ТОГДА ЕЩЁ ШЁЛ ВЕК ДВАДЦАТЫЙ...

*проплыл, как дым от самокрутки,
и в будущее мчал вагон,
оставив позади побудки,
подъёмы, плац и полигон,
сон без просвета в промежутке...*

Собственно, надо было бы не останавливаться: ведь этот текст мы прервали произвольно, проявив некое насилие, хотя в самом тексте нет торможений, и все тут, связанное в тугой узел человеческого бытия, стремглав несется до последней точки, которой, согласитесь, не избежать и лейтенантику, и «девушке чужой, курносому русому ангелку», и пресловутой миргородской луже, ослепительно блеснувшей на пути следования поезда.

Да и что тут вдаваться в подробности, когда с пушкинских еще времен российская поэма держится на «тяжело-звонком скаканье по потрясенной мостовой». Без него, без скаканья этого, действие фатально буксует, в результате чего получается нудное, растянутое беспредельно стихотворение. А разве у нас, в том числе у тех, кто составлял гордость русский словесности, не бывало поэм, сплетенных из отдельных лирических выплесков? Сколько угодно.

Александр Ревич жил не в безвоздушном пространстве, и его книга поэм «Рой», ставшая, в общем, далеко неординарным литературным событием, кое в чем все-таки испытала недостаток кислорода. Он и сам, как истинный художник, признается в «Речи»: *«Я смыслы образов и звуков множил, так семь десятков лет на свете прожил и только на восьмом заговорил».*

Вот она, важная, решающая веха в судьбе поэта, объяснившего уже потом, в «Поэме дороги», где тут собака зарыта: *«В ночь, когда нас бросили в прорыв, был я ранен, но остался жив, чтоб сказать хотя бы о немногом. Я лежал на четырёх ветрах, молодой, безбожный вертопрах, почему-то бережённей Богом».* В этом «почему-то» — вся Вселенная, не правда ли?

В книге поэм автор в предисловии заявил о своем стремлении «охватить пережитое время и пережитое пространство, вернее — времена и пространства» и как бы подвести итоги, «собрать урожай».

Однако новые поэмы, свидетельствуют: ни о каком подведении итогов и речи быть не может. Во всех этих вещах такой жизневорот, что впору ждать от поэта и сколько хотите поэм. В них — окончательно сформировавшаяся победительная способность изображать движение, без которого не бывает крупных (естественно, не по количеству строк) полотен. А была ли эта способность в той книге?

Давайте полистаем «Поэму о ранней осени», «Поэму о единственном дне», «Поэму о ненаписанном стихотворении», «Поэму о городе Дубровнике», «Поэму о позднем прощании», «Приморскую поэму», «Дом на Плющихе». Здесь предпочтение нередко отдается стоп-кадру. Обратим внимание на некоторые узловые моменты. *«Кони нестройно топчут, качаются всадники, горбясь, дорогой и по обочинам тянется конный корпус... На тачанках молчат пулемёты, на лафетах молчат орудья...»*, *«Идёшь, идёшь — всё дождь и дождь...»*, *«Мама, я пока что иду по белому свету, по белому снегу, по хрусткому льду...»*, *«Я плыву в ковчеге. Да, да, в ковчеге. Здесь такой потоп...»*, *«Мы слишком долго говорим с тобой...»*, *«Немало было нам дано за этот краткий день изведать...»*, *«Как эти воды широки!..»* *«Так вот, в Крыму, в то лето я забылся. О чём писать? О радости? Как скучно!..»*, *«Всё остаётся: радость и утрата. И ничего забыть нам не дано...»*.

Автор иногда сам нажимает на стоп-кран. Ему пока проще находиться в ковчеге, где хватает времени на размышления: *«О чем писать?»*

Даже в более поздней «Тарханской элегии» действие приобретает порою ход медленноватый, чреватый здравым смыслом: *«Ты говоришь: «Тут рядом, в двух шагах семейный склеп». И вот мы в подземелье, где гроб свинцовый сохраняет прах того, кто краткий век испил, как зелье смертельное, и пусть ему горька бывала чаша жгучего настоя, мятежный дух летал за облака и запросто нырял на дно морское. Так ты сказать бы мог наверняка, а я в ответ: «Мальчишеские бредни». Но как скажу, когда здесь на века свобода обрела приют последний?»*.

Да и наблюдения попадались того же порядка: *«Что это? Дождь как будто перестал, а значит, завтра вёдро, снова лето»*.

ТОГДА ЕЩЁ ШЕЛ ВЕК ДВАДЦАТЫЙ...

Впрочем, не зря Александр Ревич не только умолял: *«Помилуй нас, Господи Божье!»*, но и уточнял: *«Дай глутцам Своё терпенье Божье, дай увидеть истину слепым»*. Оказывается, и во всеоружии поэтического мастерства можно прозреть. Лирика его последних десяти-пятнадцати лет прошла свою Перестройку, преодолела даже намек на инерцию слова.

Его уже не интересовал чистоган, он стал достигать цели, тратя на это минимум строк, что было сопряжено с признанием зависимости не от того факта, что «зима белоснежна, весна зелена», а от *всего или ничего* — то есть от прозы бытия: *«Не думать никогда о чистогане, не дожидаться спелых виноградин. Не плачь, мой друг, ведь мы с тобой цыгане, есть конь у нас, и тот чужой — украден»*.

И верно, все берется у жизни, берется за-ради сотворения своих «пространств», берется с пониманием того, что значит соотношение поэтической дерзости, с одной стороны, а с другой — «костей смиренных», и «сердца сокрушенного и смиренного».

Уже и «Тарханская элегия», и особенно «Поэма позднего прощания» свидетельствовали о намечавшихся коренных сдвигах в поэтике Александра Ревича, где затеплились «огни церковных тонких свечей» во имя того, чтобы в новых поэмах, как говаривал Белинский, восторжествовало главное для них — «горестная участь личности», которая воплощается не просто через «времена и пространства», а через их совместное движение.

И оно, движение, переполняет и «Поэму о доме», и «Первомайскую поэму 1927 года», и «Поэму о русском Париже», и «20 июня 1941-го», и «Поэму дороги». Посмотрите в связи с этим, какова их плотность, какова художественная насыщенность, — притом, что в каждой — не более ста тридцати-ста сорока строк!

Тем не менее на таком крохотном плацдарме свободно умещаются города, «куда бежали всей деревней от голода и прочих зол», подвал, в котором орудовал сапожник дядя Ваня, вбивая ловко гвозди в каблуки, «игрушки резал мне из чурки, смешные разные фигурки», здесь же — гарцующий по брусчатке военный оркестр, и небо с аэропланами, и дворы с арками, и поля сражений, и черная птица «среди химер на Notre-Dame», и юж-

ный базар — «...гляди во все глаза, тут столько и питья и корма, а краски! — плахты и платки, дородных статей украинки, бутылки, сало, яйца, кринки, плодами полные лотки и горы красных помидоров. Тут к месту — лужа, в луже — боров. Ну чем не Миргород тебе?», а еще слободки и станицы Кубани, и «кочки да хвощи», и туманы, и ветра, и дожди, и «мимолетные рощи», и болотца, и кукурузные заросли, и чертополох... Как раз то, что, ошеломительно проносясь мимо, не позволяет ни единому лишнему слову встать поперек, тормознуть сюжет.

Это касается и строк о, казалось бы, незаметном, абсолютно неуловимом — об исчезновении двадцатого века. И энергетика строк этих поразительна:

*Век уходил, как век Бодлера,
как всякая другая эра,
стоял у крайней полосы,
на Сене искры гладь рябили,
и на какой-то башне били
неумолимые часы.*

А как врывается — именно врывается, именно на полном ходу — драма народная в повествование о поездке молоденького лейтенанта, не знающего, что он отправляется напрямиком на войну:

*Мелькали встречные вагоны,
телятники и пульмана,
порою дух скотопрогонный
врывался с ветром из окна,
порой навстречу шли вагоны,
такие же, как для скота,
но проплывал квадрат оконный,
где за решёткой темнота
и лиц свеченье восковое,
потом внезапно дым стеной
и на площадке тормозной
фуражки и штыки конвоя,
вслед едкий дым и зыбкий зной...*

ТОГДА ЕЩЁ ШЁЛ ВЕК ДВАДЦАТЫЙ...

Музыка движения такова, что читатель не успевает среагировать на звуковые чудеса последних (в цитате) четырех строк (хотя как не восторгаться тут: «едкий дым и зыбкий зной»!). Казалось бы, все неостановимо (вспомните: «Плыл мир, скрипели тормоза»), но поэзия как раз и пользуется этой скоростью, чтобы на контрасте зафиксировать самое важное и передать его «по цепочке»:

*Конечно, в памяти короткой
вагон с тюремную решёткой,
штык на площадке тормозной
остались где-то за пределом,
лишь на мгновенье между делом
за маревом мелькнули белым,
за душною голубизной.*

Разве это не напоминает «странный отпечаток неизбежной судьбы», о котором говорит Печорин в лермонтовском «Фаталисте»?

Больной России — определение Дмитрия Мережковского — принадлежит душой и телом главный герой всех пяти повествований. Его отец сражался на стороне белых («Поэма дороги»), бежал от красных, скитался, как «самый жалкий нищелюб, словно выбрался из-под земли, чёрный весь от копоти и пыли», «с дорожной палкой и сумой, высохший, нездешний, тонколицый, по глухим просёлкам шёл домой, обходя лободки и стаицы», «шёл по пустырям, спал в снегу и прятался в овраге, хлеб вытрашивал у хуторян, примирившись с долей бедолаги».

Как болезненно это движение! Но все равно безостановочно. Еще более скоротечный и трагический характер приобретает оно, когда разговор заходит о сыне. Как не согласиться с тем, что «мир широк, да некуда уйти от себя, от времени и дома». От дома — в смысле от России, естественно:

*Помнится, совсем в другом году,
двадцать с лишним лет спустя, из плена
с посохом и торбою бреду,
видно, суждено мне на роду
повторить такое непременно.*

*Видно, так. Иначе — почему
мне пришлось однажды самому
испытать дорогу и суму,
спать в ометах, зарываться в сено...*

Легко сказать — «из плена»... Сегодня нам доподлинно известно, как это бывало — приговор трибунала гласил: «Сдался в плен и сдал своих солдат! К высшей мере!., заменить!., штрафбат!..». А в поэме события, требующие особых изобразительных средств, мелькают, мелькают, мелькают, не становясь от этого мельче, — наоборот, центрифуга действия усиливает перегрузку:

*Может, вывезет ещё кривая?
Жизнь идёт, размерен стук колёс,
мчит состав, дай Бог — не под откос,
мчат вагоны, стук не прерывая,
ничего, что за спиной конвой,
что вокруг штыки загранотряда,
слава Богу, кончено с тюрьмой,
всем паёк положен фронтовой,
живы все, чего ещё нам надо?*

И в этом селевом потоке «молодой безбожный вертопрах» радуется тому, что «на исходный выведут рубеж, а потом — на перевес винтовки и — на колья проволочных мреж без артиллерийской подготовки!»! Зачем же Верховному Главнокомандующему было ради вот таких тратить снаряды? Это уже не «вертопрах», а поэт спрашивает, оглядываясь назад: «Чем вся эта скорость обернётся?» А герой наш, воспринимающий за своей спиной конвойных как нечто само собой разумеющееся, выдыхает в белый свет: «Снится мне: отец идёт пешком с посохом корявым и мешком от станицы — по степи — к станице, то ли сам иду я с посошком по степи... ещё мне что-то снится».

Может быть, в трибунале заседал уже знакомый нам дядя Ваня («Поэма о доме»), сапожник, истязатель нянечки, деревенской женщины Татьяны, любивший надевать по праздникам «шлем со звездой, бекешу с бантом», спешить навстречу «оркестрам, флагом и речам»? Предположение это

ТОГДА ЕЩЁ ШЁЛ ВЕК ДВАДЦАТЫЙ...

правомерное. Для мальчика, будущего штрафбатника, было потрясением, когда

*...однажды в полдень жаркий,
в чьём солнце плавился квартал,
при выходе из нашей арки
я дядю Ваню увидал.
Он шёл босой, в рубахе рваной,
с подбитым глазом, в бороде,
передо мной был взгляд стеклянный,
каких не видел я нигде.
Он шёл, меня не узнавая,
он шёл, не видя ничего,
и уходила мостовая
из-под нетрезвых ног его.*

Никакой статики! Отсюда и достоверность, подкрепляемая глаголами «увидал», «видел», «видя». Она подкрепляется и всюду звучащими песнями тех лет: «Как машинист машиной правит, а кочегар баланду травит», «На бой кровавый...», «Мы в бой пойдём...», «Марш, марш, вперёд...», «Катюша», «Закурим по одной...», не песнями даже, а их обрывками, похожими на ключья паровозного дыма, которые рвутся встречным ветром. Уходящая из-под ног мостовая помогает нам понять основное: «Я снова мальчик, снова трушу, хотя всё знаю наперёд, когда Россия прямо в душу в дымину пьяная бредёт».

И снова — картины детства: «Первомайская поэма 1927 года». И снова — «странный отпечаток неизбежной судьбы». Мы уже наблюдали, как разминулись два эшелона: один — на войну, а другой — с зеками и их конвоирами. А в этой поэме одновременно двигаются в разные стороны праздничные колонны с красными знаменами и ликующей медью и совсем иная, скорбная колонна:

*...И помню, замер я от звона,
стального лязга кандалов.
Кому взбрело на ум такое:
на праздник, Господи прости,*

*под сотнею штыков конвоя
колонну узников вести?..
Брели сермяжные халаты
под звон цепей, под лязг оков,
ступали серые солдаты
друг с другом скованных полков,
как по Владимирке когда-то
в цепях на каторгу брели
рабы сермяжного халата,
сыны моей родной земли.*

Отзвуки этого кошмара мы находим и в «Поэме о русском Париже» — «тогда еще шел век двадцатый», в трактире, «где две гитары на эстраде и „две гитары за стеной”», где «*так на звук ложилось слово, что рядом, путаясь в словах, вдруг стали подпевать французы и все, пришедшие в кабак.*»

Вот уж горечь, помните: «Есть конь у нас, и тот чужой — украден». Потому-то и печаль: ведь «*под гитары пели внуки изгнанников страны моей.*»

В данном случае не только смещаются пространства, но и пересекаются времена. Вот чем обернулась «вся эта скорость». Поэт и рад бы, как некогда, передвигаться по лону вод в чисто умозрительном ковчеге, да не выходит уже, — иные горизонты у него: «*Мог бы я уйти за тот предел, слиться с бором, с лиственной кущей, но рукой зачем-то прикипел к поручню тюрьмы своей, бегущей в неизвестность...*»

Новыми поэмами Александр Ревич, «пленник эпохи», воссоздал-таки «горестную участь личности» и, говоря словами из его же стихотворения, «возвратился на свою Итаку». В этих стихах — отчетливейший гул движения «времен и пространств»: «*Смутный путь, сомнительная эра, и куда кривая занесла! Что нам до Итаки, до Гомера! Но горят мозоли от весла.*»

Что ж, такими мозолями можно гордиться.

Алексей Пятковский

Воспоминания о Самиздате¹

Политолог Владимир Прибыловский:

Музеи — Чуковского и «Новый Иерусалим»

Леха Романков познакомил меня с семейством Чуковских — точнее, с Еленой Цезаревной Чуковской — внучкой Корнея Ивановича, дочерью писательницы Лидии Корнеевны Чуковской с целью помочь неофициальному музею Корнея Чуковского в Переделкине. Там текла крыша и фундамент разваливался. Был это немножко еще и музей Солженицына, который там жил и своими руками сделал деревянный стол.

Мне довелось пару раз ночевать в комнате Солженицына и даже надевать его валенки. И я со своими друзьями по экспедиции — в частности, с Андреем Пономаревым, с Толиком Копейкиным, Владом Зубоком — стал ездить туда помогать музею. Сергея Лезова я тоже туда притаскивал на ремонтно-строительные работы.

Уже на заре перестройки я привез в Переделкино на мартовские снегоуборочные работы Диму Юрасова. Кстати, у Димы была сильная близорукость, и Чуковские сосватали для него операцию у Святослава Федорова. Федоров и самой Лидии Корнеевне сделал операцию, поскольку до этого она несколько лет была полуслепая.

Нам очень нравилось разговаривать с Еленой Цезаревной, но особенным праздником для нас была возможность

¹ Окончание. Начало в № 247. — Ред.

поговорить-послушать совершенно героическую женщину — неггибаемую диссидентку Лидию Корнеевну Чуковскую. Весело было также пить чай, а иногда и вино с Кларой Израилевной Лозовской, которая являлась последним секретарем Корнея Чуковского и знала массу занимательнейших сплетен из культурно-литературного и околодиссидентского мира. Она ко всему и вся относилась иронически и обо всем рассказывала со специфическим еврейским юмором.

Думаю, что рассказы Клары Израилевны с описаниями быта и чудачеств ее друзей-диссидентов сказались на том, как я впоследствии описывал в «Хронографе» героические деяния неформалов.

Елена Цезаревна, выждав немного, стала давать нам — во всяком случае, мне всякую литературу. В основном это был неполитический тамиздат и самиздат — Цветаева, Ахматова, «Записки об Анне Ахматовой» Лидии Чуковской, а также западные издания публицистики Лидии Чуковской — это уже — антисоветчина чистой воды. Публицистические статьи Лидии Чуковской мы сразу же стали размножать.

— *На машинке?*

— Сначала на машинке, а чуть позже, в андроповский год, появился и опыт размножения на компьютере. Какой год у нас был андроповским?

— *Восемьдесят третий.*

— В восемьдесят третьем я впервые столкнулся с компьютером, и сразу же поставил его на службу самиздату.

Чуковские и их гости, с кем мы пересекались на музейной даче, тоже стали для нас источником получения литературы. Впрочем, я не помню, чтобы мы обменивались литературой, например, с известным тебе Сережей Агаповым, являвшимся почти членом семьи Чуковских. С ним мы общались, в основном, устно. И если я тогда все еще продолжал быть со-

циалистом, то он, благодаря такому окружению, им, конечно, не был.

— *Хотя и являлся тогда простым рабочим.*

— Да, просто рабочим, который по субботам и воскресеньям работал и жил в Переделкине.

Там же я познакомился с Мунирой Умаровой, которая сейчас работает секретарем в Фонде Солженицына. Впервые мы с ней пересеклись в восьмидесятые, в марте какого-то года, когда вместе сбрасывали снег с крыши дома Чуковских.

Кстати, мы с ней могли бы познакомиться и в Недвиговке, поскольку она, как я потом случайно узнал, несколько сезонов работала в соседней с нами археологической экспедиции, в Танаисе. Там две экспедиции в одном хуторе: на одном конце Недвиговки наша Донская экспедиция копает палеолитическую стоянку «Каменная балка», а на другом конце — ростовчане, москвичи и владимирцы раскапывают древнегреческий город Танаис. Хутор длинный, как колбаса, тянется вдоль железной дороги на три станции — примерно посерединке между Ростовом и Таганрогом.

Из Танаиса в нашу экспедицию часто приходил в гости наш друг, историк-востоковед Дега Витальевич Деопик, пару раз — в сопровождении своего приятеля Сережи, специалиста по средневековой Бирме. С последним я разговаривал, и он запомнился мне благодаря своим специфическим взглядам, для нашего круга необычным — тоже антисоветским, но одновременно антизападническим и антилиберальным.

Уже в девяностые годы я познакомился в Москве с Сергеем Волковым, видным деятелем монархического движения, главным редактором газеты «Дворянский вестник». Он оказался тем самым Сережей. Хоть и не с первого раза, но мы с удивлением и удовольствием вспомнили друг друга.

Активными читателями сам- и тамиздата были и мои сослуживцы по музею «Новый Иерусалим», где я работал с осени восьмидесят первого по декабрь восьмидесят седьмого го-

да. На работу в музей, кстати, удалось пристроить часть людей из нашей экспедиционной тусовки.

Между прочим, со мной в Новом Иерусалиме одно время работал молдаванин Валера Матичук, который тайком печатался в Румынии под именем Валериу Матей. Впоследствии поэт Валериу Матей стал одним из лидеров Народного фронта Молдовы, был депутатом парламента нескольких созывов. А один аспирант кафедры средних веков, которого я, кстати, тоже за ташил в Донскую экспедицию, познакомил меня с Володей Солонарем — впоследствии одним из лидеров Интердвижения «Единство» в Молдове и тоже депутатом парламента.

Так что два моих давних московских приятеля из Кишинева оказались в конце восьмидесятых яростными политическими противниками, а в девяностые годы, бывало, уже и эпизодическими союзниками, поскольку и русскому национал-демократу Солонарю оказалось не по пути со сталинистами и православными фундаменталистами, и румынский национал-либерал Матей отошел от союза с правыми национал-радикалами.

Через того же аспиранта нашей кафедры я познакомился и с аспирантом из Перми Борей Ихловым, впоследствии идеологом неомарксистского «пролетаристского» крыла в неформальном движении Марксистская Рабочая партия. Все эти знакомые тоже читали и, бывало, размножали самиздат.

В более близких отношениях с Валерой Матичуком, чем я, находился элистинец Леша Кадацкий — самостоятельный философ-эзотерик, которого обожали религиозные старушки и хиппующая экспедиционная молодежь. Кадацкий доставал где-то книжки религиозно-философского и мистического содержания, но не чурался и политического самиздата.

Однажды к Валере в гости приехала поэтесса, румынская националистка Леонида Лари — впоследствии она прославилась тем, что требовала снести в Кишиневе памятник Пушкину, а еще тем — это то ли анекдот, то ли правда — что она обручилась со статуей Стефана Великого.

Я эту экзальтированную даму видел только мельком, а Кадацкий целый день водил ее по Новому Иерусалиму, а потом она

ему весь вечер читала стихи. Я стихов Леонида Лари не слушал, а вот стихи Матяя, особенно его переводы Мандельштама на полунепонятной мне молдаванской мове, завораживали.

В отличие от меня, Леша Кадацкий жил в общежитии при музее постоянно, и я свою крамолу часто — особенно уезжая куда-нибудь — оставлял на хранение у него под кроватью. Однажды у него под кроватью лежало несколько томов вынесенных Димой Юрасовым из архива Военной коллегии Верховного суда совсекретных списков реабилитированных в конце пятидесятых годов. Юрасов — историк-архивист, который с детства составлял картотеку репрессированных.

Мы с Сережей Харламовым организовали пересъемку этих секретных фолиантов, а потом Дима внес их обратно в архив прежде, чем его в очередной раз разоблачили и выгнали с работы. А хранились они то у меня, то у Леши Кадацкого. Это был уже примерно восемьдесят шестой год.

Новые социалисты (конец)

Социалистов арестовали в начале апреля восемьдесят второго года. Но не всех. Из тех, кого я знал — Кудюкина, Фадина, Кагарлицкого и Ривкина, а также еще нескольких человек, с которыми я не был знаком, в том числе Хавкина и Чернецкого.

— Пятым в числе главных фигурантов являлся Андрей Шелков...

— Да, но Шелкова взяли в Петрозаводске.

Обысков тогда было много. У Собченки был обыск. Он, кстати, одно время работал секретарем у Роя Александровича Медведева и книжки Медведева у него при обыске тоже изъяли. Был обыск у Романкова в Питере. Я испугался, что обыск у Романкова произведен в связи с этим делом, потому что Романков через Надин Кеворкову и через меня знал о социалистах и даже чуть-чуть был знаком с Кагарлицким. При обыске у него изъяли — наряду с кучей художественной антисоветчины — и какую-то продукцию московских социалистов.

В Москве тогда одновременно взяли минимум две группы — молодых социалистов и православных религиозников, которые были немножко связаны между собой или, во всяком случае, пересекались. Там был какой-то сюжет с попыткой социалистов купить у религиозников ксерокс. Религиозники — это группа Виктора Бурдюга, остатки ранее разгромленного огородниковского кружка. Я с ними не был никак связан, но с ними поддерживал отношения мой приятель Паша Роговой, который одно время учился на историческом факультете и через которого я тоже получал религиозный и религиозно-философский самиздат. Когда Рогового объявили в розыск, он исчез.

Так что мы сначала подумали, что питерцев трясут из-за московских связей. Но на самом деле в течении нескольких дней апреля восемьдесят второго года была проведена просто какая-то плановая акция КГБ по подборанию последних остатков диссидентско-правозащитного и подпольного движений.

Например, как раз тогда «подобрали» остатки «Поисков» — в частности, арестовали Глеба Павловского.

А в Питере обыски были у учителей и подписчиков журнала «Мария» — журнала христианско-диссидентского феминизма

К этому же времени, если не ошибаюсь, относится арест в Питере Михаила Мейлаха. И к Романкову тоже, как оказалось, пришли как к подписчику журнала «Мария». И удивились — сколько у него дома антисоветчины, причем с дарственными надписями авторов. И хотя его не посадили, но с работы выгнали.

Короче, мы — я во всяком случае — немного испугался: моих друзей с одной стороны взяли, моих друзей с другой стороны обыскивают. Значит, и ко мне тоже должны прийти. В общем, социалисты на год загремели.

Через год их выпустили, потому что в большинстве своем они покаялись — дали письменное обещание не заниматься впредь антисоветской деятельностью. А вот Ривкина и Шелкова не выпустили, потому что они такое обязательство

не подписали. Собченко же скрылся — уехал в Крым. Меня какое-то время никак не трогали, но потом стали вытаскивать к следователю на улицу Электрическую — это «Лефортово», на предмет того, не знаю ли я, куда делся Собченко. Мне их тогда просто удалось продинамить, и они как-то отстали. Но это — отдельная история — «Я и КГБ». Если все это вспоминать, получится долго.

— *Но надо.*

— Я помню день, когда взъерошенный, с безумием в глазах Собченко приехал ко мне после обыска, который продолжался у него почти сутки...

— *Где? У него была квартира?*

— Он снимал ее, наверное. Я был в одной из его квартир, но не помню, где она находилась.

...Собченко приехал ко мне, перед тем поколесив по Москве, чтобы оторваться от хвоста, который мог быть. А в этот день на шкафу в той комнате в университетском общежитии, где мы жили с Лаурой и Либертад (*надчерица Прибыловского*, — А. П.), находилось такое количество самиздата, какого у меня не было никогда до того и еще несколько лет после: десять экземпляров только что привезенных от Акинши ксерокопий второго или третьего тома Солженицына, экземпляров пять разобранных, но еще не переплетенных ксерокопий книги «Большой террор» Конквеста в тысячу с лишним страниц каждая, и другие вещи. И все это сразу же пришлось прятать.

Собченко с Лаурой сели сочинять пресс-релиз для мировой еврокоммунистической общественности об «аресте группы еврокоммунистов в Москве». Информацию об арестах и обысках Лауре на следующий день удалось передать какому-то знакомому Собченке иностранному корреспонденту, с которым самому Лешке было опасно встречаться.

А я вызвонил в ночи Толика Копейкина, и мы с ним вывезли из моего логова всю антисоветчину и спрятали ее где-то. Ко-

пейкин тогда жил в качестве полуофициального сторожа в недоорганизованном музее художника Пластова на Зубовском бульваре, так что, наверное, в музее и спрятал. Была мысль все это уничтожить, но показалось жалко. Так что спрятали, и потом эти издания разошлись.

— Ты сказал: «разошлись». Они просто раздавались или из этого все-таки извлекалась какая-то прибыль?

— Прибыль из этого, разумеется, не извлекалась. Но расходы на это дело бывали довольно большими. Если государственная цена ксерокопии была копейки три или четыре за лист или разворот...

— Что значит — «государственная цена»?

— В Ленинке, например, можно было сделать ксерокопию, но только той книги, которая имеется в библиотеке, а не той, которую ты с собой принесешь. То есть там тогда уже имелась ксерокопия, и существовали государственные расценки...

— Это когда?

— В середине восьмидесятых годов, да и раньше.

...А всякая левая продукция у ксероксчиков, которые на этом зарабатывали, шла от пяти до двенадцати копеек за разворот вне зависимости, что это — Александр Дюма, Библия или Солженицын. На протяжении всех восьмидесятых цены росли, и эти деньги нужно было как-то возмещать.

Оптимальный вариант, это когда деньги на это дело собирались заранее. Человек читал и говорил: «А вот мне бы такую книжечку достать». Я отвечал: «Давай столько-то денег, и через какое-то время я тебе либо принесу ксерокопию, либо деньги верну». Так это делалось.

Иногда еще накидывались какие-то копеечки на развоз, поскольку большой заказ на такси развезить приходилось. Например, десять экземпляров Конквеста в рюкзачке осо-

бенно не понесешь. Уже думаешь: «Возьму-ка я с заказчиков на копейку за разворот побольше, но не буду себя напрягать и поеду на такси».

Но для кого-то это являлось и средством заработка. Например, Паша Роговой, насколько я понимаю, зарабатывал себе на жизнь таким посредничеством, — он делал религиозную литературу, на которую существовал относительно массовый спрос, и тиражи менее ста экземпляров не заказывал.

Я иногда тоже вкладывался через Рогового. Он спрашивал: «Такая книжка не нужна?» Я говорил: «Ну, в принципе, нужна. Я и сам читаю, и кому-нибудь потом продам». — «Ну давай, это стоит столько-то. Я как на сто экземпляров наберу, так закажу». Как-то спросил: «А сто экземпляров Солженицына ты можешь сделать?» — «Может и сделаю, если ребята, которые на ксероксе, не испугаются. Думаю, что не испугаются, если ты наберешь денег на сто экземпляров. Но ты вряд ли наберешь, — Солженицын ведь не такой популярный, как Псалтырь или Иоанн Златоуст». Я отвечал: «Что правда, то правда. Я могу собрать только на десять».

— Меня интересуют всякие конспирологические подробности обстоятельств ваших подпольных встреч. Где они происходили, как вы о них договаривались? По телефону, используя специальную лексику?

— Так как в основном все мы были достаточно близкими друзьями, то какая могла быть конспирация? Нам это было не нужно. Мы достаточно часто встречались пс. работе, по учебе, просто увидеться, а заодно и эти вещи решали.

А вот в рамках группы «молодых социалистов», действительно, имели место какие-то потуги на конспирацию. В частности, с Ривкиным у нас имелась договоренность встречаться, кажется, по средам два раза в месяц в семь часов вечера у «Мужика с гранатой» и ждать пятнадцать или двадцать минут.

Если встреча срывается, это означает, что ровно через неделю в это же время мы опять там же встречаемся. Бывало, что или я не смогу прийти, или он.

Были случаи, когда встречи срывались. Но я всегда старался приходить на них. Да и он тоже старался. Он, видимо, где-то не очень далеко оттуда жил, и ему это место было удобно.

А я когда закончил университет, через эту станцию — «Краснопресненскую» — ездил из университета на работу в Новый Иерусалим и обратно и как раз без пятнадцати семь вечера ее проезжал. Так что мне тоже это было удобно. Когда на лето и он, и я, бывало, уезжали, мы договаривались, например, так: «Встречаемся в первую среду сентября», и месяца два или полтора не встречались.

Однажды мы с ним потеряли друг друга совсем. И Собченко в этот момент тоже куда-то делся. Я не смог его отыскать. Но поскольку у меня имелась потребность Мишу найти, я воспользовался своими несанкционированными знаниями: просто созвонился с Пашей Кудюкиным и сказал, что нам нужно встретиться по делам.

Мы встретились с ним где-то на улице, и я объяснил, что потерял контакт со своим куратором в группе. Он ответил: «Я найду». Он, кстати, не знал, с кем я встречаюсь, и я ему Мишу описал. Тогда он сказал: «Я догадываюсь, с кем». И восстановил разорванную связь.

С Ривкиным мы встречались и незадолго до его ареста. Он спросил: «Ты как, собираешься это дело продолжать?» Я говорю: «Пока еще да — годочек собираюсь». Он: «А я уйду. Но перед этим я сведу тебя с кем-то другим». Я спрашиваю: «А в чем дело?» Он: «Мне надоело и это подполье, и этот социализм. Я лучше примкну к какой-нибудь открытой диссидентской группе и буду правами человека заниматься».

Это был наш предпоследний разговор перед его арестом. А буквально за несколько дней перед началом этих арестов мы с Ривкиным случайно столкнулись в метро, и он сказал, что все, он точно уходит, и что на нашей следующей встрече он меня кому-то передаст.

А следующей встречи не получилось, потому что его арестовали. Так как на суде и следствии он не раскололся и отказался каяться, то ему дали по полной — семь плюс пять, и он освобожден только по горбачевской амнистии. Сейчас он в Израиле.

— Да, стал равнином. По его словам, в советское время он жил недалеко от меня — где-то в домах по Рублевскому шоссе, в которых, как я теперь знаю, тогда жили также Ярослав Леонтьев и Явлинский.

— Может быть, может быть. Обычно мы с ним прогуливались минут сорок переулками от «Краснопресненской» и ближе к парку возле нынешнего Белого дома, которого тогда еще не было.

Мы обычно доходили до какого-то переулка, и я возвращался на «Краснопресненскую», а он шел в другую сторону. Вполне возможно, что он после этого шел на станцию метро...

— Когда ты впервые узнал, как на самом деле зовут «товарища Володю»?

— Когда их арестовали, я это уже точно знал. По «вражескому голосу» их имена называли. Но, по-моему, мне Собченко еще раньше об этом проговорился.

Было это так. Когда со мной университетский гебист Владимир Алексеевич Кашин проводил «беседу» насчет того спектакля на квартире, то он мне называл фамилии: «А Кагарлицкий там был, а Фадин там был?» Я отвечал, что известного литературоведа Юлия Кагарлицкого я читал, но в лицо не знаю. Фадин я тоже в лицо не знаю. Естественно, я сразу же подробно пересказал беседу Собченке. Тут Лешка, видимо, и проговорился, что Кагарлицкий — этот и есть тот самый «товарищ Володя», с которым он меня свел.

Вообще, Собченко еще тот конспиратор был. Однажды они составили письмо, по-моему, итальянским еврокоммунистам, и чтобы их лучше поняли, перевели его с русского языка на итальянский. Переводил, естественно, Собченко, который знает все языки.

И то ли изначальный текст, то ли черновик своего перевода он оставил вложенным в толстый итальянский словарь. А готовый текст, то ли от руки написанный, то ли кое-как перепечатанный на машинке, передал Кагарлицкому.

Кагарлицкий вложил перевод в красивый такой буржуйский пакет из жесткой бумаги и с мягким пузырчатым пластиком внутри, в котором очень удобно носить бумаги, чтобы их не повредить. В этом пакете прислали какую-то научную брошюру или журнал его отцу, и на нем было написано: «доктору Юлию Кагарлицкому», с адресом¹.

Борька вложил туда эту собченковскую бумажку и, передав его дальше, сказал тому человеку, которому он его дал: «Слушай, я забыл оторвать адрес на пакете. Оторви его и выкинь». Тот, кому он этот пакет дал, передал его, по-моему, Фадину. И передавая пакет, сказал: «Слушай, там адрес остался. Мало ли что. Меня просили оторвать, но я забыл. Сам оторви и выбрось». Фадин ответил: «Да, сделаю». После чего, передавая пакет машинистке, сказал ей: «Оторви это и выбрось».

Первый обыск произошел именно у машинистки. Ее раскололи в две минуты относительно того, от кого непосредственно она получила этот пакет. А изначальный источник его происхождения тоже был ясен сразу, поскольку на пакете было написано: «доктору Юлию Кагарлицкому, туда-то». Отчасти благодаря этому пакету кэбэшниками была вскрыта вся линия. Вот такая у нас была конспирация.

Когда проходил обыск у Собченки, они уже знали по своим оперативным данным, что это он переводил письмо на итальянский, и искали у него доказательства этого. Они перетрясли все. Когда они брали в руки итальянский словарь, Собченко каждый раз обмирал, будучи почти уверен, что оставил оригинал письма там. Гэбисты трясли словарь три раза, но ничего не нашли.

¹ В книге американского слависта Нины Берберовой «Железная женщина» находим любопытное упоминание о переводческой работе Марии (Муры) Будберг-Бенкендорф-Закревской (последней жены Г. Уэллса), которой на английский язык была переведена «... небольшая книжка советского спеца по Уэллсу, некоего Кагарлицкого (1966), не имеющая никакой историко-литературной ценности. Мура на этот раз написала сама к ней предисловие, оно занимает полстраницы и говорит о том, что Уэллс, если бы был жив, был бы очень рад такой книге о нем».

Когда гэбисты ушли, он сам потряс этот словарь, но текст не выпал. «Ну, — думает, — куда ж он мог деться?» Прошел год. Собченко понадобился этот словарь. Взял он его, открывает — а словарь сам открывается на том месте, где в нем лежит искомый лист. Вот такая смешная история.

Другая смешная история была у одного приятеля Сергея Лезова. Неуверен точно, но по-моему, это был Миша Радзинский, сын писателя. У него тоже был обыск по делу, по-моему, группы «Доверие».

— Не забывай говорить про годы. Тем более, что «Доверие» — это уже перестроечная группа.

— «Доверие» возникло раньше. Первая группа «Доверие» возникла где-то в году восемьдесят четвертом, самое позднее — восемьдесят пятом. Эта была, как шутили тогда, «группа-катапульта», и ее в основном составляли «катапультисты» — те, которые объявляли себя диссидентами и борцами против режима именно из расчета, чтоб их выкинули из страны. Лезов с некоторыми из них, в том числе с Мишей Радзинским, был знаком.

У Радзинского — предположим, что это был именно он — проходил обыск, во время которого нашли довольно много литературы, в том числе, по-моему, «В круге первом» Солженицына. Эту книжку гэбисты занесли в протокол обыска, после чего про нее забыли, и она осталась на столе.

Радзинского «за хранение с целью распространения» арестовали и потом осудили на года три ссылки, а эта книжка перешла к Лезову. А Лезов дал ее почитать мне, рассказав предварительно об ее почтенной истории.

Таким образом, я читал экземпляр «В круге первом», который побывал в руках у КГБ, но остался у своих владельцев. То есть гэбисты тоже проколы допускали.

Автор сам- и тамиздата

Помню, как я достал английское издание «84-го» — через своего однокурсника Андрея Пономарева. Точнее, мне дал эту

книгу его отец — физик и популяризатор науки, автор прогремевшей в свое время книги «По ту сторону электрона». И я те страницы, которых не хватало в экземпляре, полученном мною от Миши Ривкина, перевел.

На это у меня ушло несколько дней, — я ведь тогда был слабым переводчиком, да и много заботился о стиле. Хотел, чтобы перевод был хорошим. Орвелл — прекрасный писатель не только в плане мысли, но и стиля. У него — прекрасный английский язык. Кстати, так и не установлено, кто был переводчиком «84-го». Говорят, кто-то из семейства Толстых, потомков Льва.

— *Тамошних Толстых или наших?*

— Наших, наших. Американка русского происхождения Люся Торн, которая от ЦРУ курировала издание этой книжки в Италии — она же курировала издание, скажем, «Большого террора» Роберта Конквеста, говорила мне, что этот перевод, а также перевод «Памяти Каталонии» они из Москвы получили. Но и они не знали, кто переводчик.

В моем «исправленном и дополненном издании» самиздатского «84-го» мне пришлось сделать дополнительную нумерацию страниц. Предположим, например, что пробел — отсутствующие страницы — находился после тридцать пятой страницы машинописи и перед тридцать шестой. Значит, я нумеровал новые страницы.

Кажется, я успел Ривкину вернуть его экземпляр уже не дефектным, а полным. Или я ему просто новопереведенные страницы потом додал? Не помню точно. Мне тогда удалось отдать «дополненного» Орвелла на ксерокс, экземпляров десять сделали, один из них я оставил себе. Так у меня оказался полный перевод.

Впрочем, не совсем полный. В этом итальянском издании отсутствовала еще глава-приложение — Principles of Newspeak (принципы новоречи), и поэтому ее в перепечатке тоже не было. По-английски я ее прочел с восхищением, но с переводом сам не справился. Для этого нужно было быть хорошим фи-

дологом, причем одновременно и английским, и русским филологом.

Во второй половине восьмидесятых я эти «принципы ньюспика» прочел в полузакрытом ИНИОН-овском издании, кажется, в переводе Виктории Чаликовой.

— А в открытой печати этот роман был опубликован в восьмидесят девятом году в «Новом мире» в переводе Гольшева?

— Это — хороший перевод. Но тот, что был издан Люсей Торн в Риме — пожалуй, лучше.

— Да, даже у меня, практически не знающего английский, были какие-то вопросы относительно перевода Гольшева.

Теперь расскажи о том, как ты стал автором тамиздата.

— Я еще в университете сочинял какие-то полухудожественные штуки типа подражания Хармсу или псевдо-Хармсу. Но это были вещи, никому неинтересные, кроме студентов нашего курса. Они иногда были достаточно крамольны, но на срок вряд ли тянули. Вот на исключение из комсомола — пожалуй.

Какие-то тексты в виде откликов на прочитанное я писал для «Левого поворота», отдавая их Мише Ривкину, но, по моему, ничего из этого напечатать не успели.

Написал я и какой-то полупрограммный текст, который нескромно переплел под одной обложкой вместе с «Жить не по лжи» Солженицына и чуть ли даже не назвал: «Избранное». Такая вот подборка избранного — из Солженицына, Прибыловского и, может быть, еще кого-то. Эта подборка должна сохраниться в архиве у Саша Шубина, которому я ее дал почитать еще в перестроечные годы и которой ее не отдал. Ну, я и не особенно настаиваю на возврате — у него целее будет. Были у меня, может быть, и еще какие-то два-три текста.

Какую-то из этих моих статей во время обыска нашли у Кудюкина под кроватью и спросили, чей это текст...

— Он не был подписан?

— Конечно, не был. Ну, может быть, я поставил «В.П.». В это время я начал так свои крамольные тексты подписывать.

— Почему «конечно»? В самиздатских журналах ведь часто своими фамилиями подписывались.

— По-разному было. Это в открыто-правозащитных диссидентских журналах своими подписывались, да и то не всегда. А у нас-то ведь подпольный журнал был. В подпольных ставили псевдоним или вообще не подписывались.

...И Кудюкин им ответил, что не помнит. А после того, как их арестовали, я составил текстик, в котором подробно рассказал о деле «молодых социалистов», и отдал его Владимиру Ивановичу — фамилию его я не помню, с которым меня познакомила Клара Израилевна Лозовская из «чуковского» музея. Он работал в обществе глухих, хотя сам глухим не был и заказывал довольно много самиздатских книжек. На этой почве мы с ним и стали контактировать.

Кроме того, он нашел переплетчика — кто-то из его друзей этим занимался, которому отдавал переплетать ксерокопии, которые мы делали. И для себя тоже их брал. Стоило это недорого — примерно столько же, сколько потом, когда появились участвующие переплетные мастерские. Просто в такую мастерскую с Солженицыным ведь не пойдешь. В крайнем случае, со Стругацкими, да и то опасно.

Этот Владимир Иванович из общества глухих был знаком с сыном Ковалева Сергея Адамыча, который в это время сидел, кажется и, по-моему, этот мой текст попал на Запад именно через него. Впрочем, я мог дать его и кому-то еще, например, Лезову. Я его подписал «В.П.», распечатал в нескольких экземплярах и раздал.

Через некоторое время он был напечатан сначала в «Архиве Самиздата», потом в «Посеве», потом, кажется, в «Русской мысли», а потом его цитировала в своей «Истории инакомыслия в России» Людмила Алексеева.

Можно сказать, что это была моя первая тамиздатская статья. О том, что этот текст был опубликован, я узнал только через несколько лет, потому что главу о социалистах Людмила Алексеева в первое издание своей книжки не включила. Но напечатала ее отдельно в выходившем в Америке на русском языке журнале Франтишека и Ларисы Сильницких «Проблемы Восточной Европы». Этот журнал попал ко мне только в году восемьдесят шестом или восемьдесят седьмом.

— *И в восемьдесят шестом же году в Лондоне вышел твой перевод книги «Ферма Энимал»...*

— Не в Лондоне, а в Америке — в том же нью-йоркском издательстве «Проблемы Восточной Европы». Это был первый вариант моего перевода «Зверской фермы».

— *Я ничего не знаю про твой второй перевод «Фермы»...*

— Не было второго перевода. Было неоднократное редактирование, которое приняло некий окончательный вид десять лет назад, в каковом виде и опубликовано.

Переправлялась она следующим образом. Знакомый моих знакомых, работавший в Останкино, сделал с моего машинописного перевода микрофильм. Правда, в Америке уже обнаружилось, что при проявке пленки мое предисловие почти полностью засветилось.

А в это время у моего однокурсника Сережи Харламова появился какой-то выход на Запад. Возможно, эта была уже Пилар Бонет (*многолетний московский корреспондент испанской газеты «El Pais», — АП*), на которую он до сих пор работает.

Во всяком случае, я с ней познакомился году в восемьдесят седьмом, когда она здесь уже во всю работала. И Сережа через Пилар или через кого-то еще переправил эту пленочку на Запад. Она попала к Людмиле Алексеевой, та отдала ее в «Проблемы Восточной Европы», и ее напечатали. Поскольку предисловие — за исключением последнего абзаца засветилось, то из него был опубликован только фрагмент.

В это же время я через Сережу Харламова возобновил отношения с Кагарлицким. Это были восьмидесятые годы. Тогда как раз начинался «Клуб социальных инициатив». Среди моих знакомых, которые ходили в предшественник этого клуба — клуб «Компьютер» на Арбате, были Сережа Агапов из Переделкина, Сережа Харламов и Кагарлицкий. С последним мы друг друга помнили, но Харламов нас как бы второй раз познакомил.

Я стал захакивать к Кагарлицкому в лифтовую сторожку в писательском доме у метро «Аэропорт». А в соседнем доме жил Лезов, с которым я продолжал поддерживать отношения, в том числе и по поводу обмена сам- и тамиздатом. И даже после того, как наши мексиканки уехали. Причем Бернарду...

— *Жену Лезова?*

— Она была не жена, а подруга. Женой она стала моего однокурсника Копейкина. Потом они развелись.

...Ее просто выслали за то, что она везла Лезову целый чемодан самиздата, который бесплатно получила в Париже в тамошней ЦРУшной лавке. Когда ее на границе взяли, ей сказали: «Если Вы хотите продолжать обучение в Москве, то Вы должны назвать, кому Вы это везли.» Она не назвала, и ее выслали — не сразу, правда. А везла она Лезову все три тома Солженицына в «посевоковском» исполнении и много еще чего.

Причем один том Солженицына она привязала к ноге и провезла. Два тома, которые находились в чемодане, у нее отняли, а тот, который был привязан к ляжке, она довезла. Выслали ее месяца через три после этого, а за неделю до высылки на ней сумел жениться Копейкин.

— *Ты не сказал о том, почему это ты вдруг стал переводчиком.*

— Это началось в начале восьмидесятых, когда мне попался дефектный экземпляр «84-го», и я его дополнил.

Затем, когда Лаура привезла мне из-за бугра английский текст «Энимал фарм», у меня сразу же возникла идея его перевести.

Книжка эта тоненькая, язык простой. Ну я и засел за перевод. Переводил долго. И перевел. Потом еще долго обрабатывал: советовался с разными людьми, давал им почитать, спрашивал их совета, исправлял. Тот же Харламов что-то советовал, но не с точки зрения английского языка, а русского.

Знакомая переводчица Таня Григорьева из нашей археологической экспедиции сличила мой перевод и с английским текстом. Поняв по отзывам друзей, что перевод неплох, я его довел до окончательной кондиции и при случае отправил на Запад. Потом Чаликова говорила, что мой перевод «Фермы» — самый лучший.

Компьютерный период самиздата

— Ты хотел рассказать о том, как начал размножать тексты на компьютере.

— Шел андроповский год. У нас в археологической экспедиции был хиппи по кличке Саша Баннный. Баннный потому, что работал вместе со мной и Андреем Пономаревым на строительстве бани. Фамилия его была Родигин.

В миру Саша был одним из самых первых советских программистов и работал по специальности в вычислительном центре где-то на северо-западе Москвы. Это был выразительный и необычный человек. Мама его — художница. Сам жил на Фрунзенской набережной. Зимой он обычно работал, а где-то в мае брал отпуск за свой счет, выходил на трассу и возвращался в конце сентября.

— Что это значит: «выходил на трассу»?

— Хиппи же путешествуют в хорошую погоду.

И вот я стал приходить к нему по ночам. Он по ночам любил работать, да и мне днем нужно было в музее экскурсии во-

дить — и там набивал в компьютер тексты. Саша мне его настраивал, сам занимался своими делами, а я набирал. Тогда-то я и научился набирать тексты на компьютере.

Компьютер там был мощный, по-моему, списанный чуть ли не из НАТО и купленный нашими шпионами где-нибудь в Швейцарии, поскольку тогда действовало эмбарго. Принтер был величиной с комнату, а как выглядел сам компьютер, я не знаю, потому что имел дело только с экраном и клавиатурой. Наверное, тоже величиной с комнату. Распечатывал он только большими буквами и на такой перфорированной бумаге — с дырочками сбоку.

Печатал он долго и громко, но зато сразу по два экземпляра. Их оставалось только разодрать и разложить. Кстати, благодаря дырочкам по краю было легче такое издание переплести, — получался совсем самопальный переплет, но удобный. Я даже не знаю, в каком редакторе я на нем работал, потому что лексикона тогда еще не было.

— *Название этой машины помнишь?*

— «Хьюлет Паккард»! А принтер, наверное, советский, раз он печатал кириллицей и большими буквами.

Что я набивал? У меня была мечта сделать нормальный вариант «Одного дня Ивана Денисовича» — с восстановленными купюрами. Подобный тому экземпляру «Мастера и Маргариты», который мне когда-то дали.

Для этого я попросил у Елены Цезаревны Чуковской экземпляр «Роман-газеты», в котором были вклеены сделанные Цезаревной на папиросной бумаге под диктовку самого Солженицына вставки с вымаранными цензурой местами.

Этот исторический экземпляр я взял и набил с него в компьютер «Один день Ивана Денисовича» целиком, восстановив цензурные купюры и, кроме того, вставив в качестве предисловия отзывы о Солженицыне легальных советских писателей — Корнея Чуковского, кого-то там еще. Правда, Елена Цезаревна меня очень критиковала за большое количество сделанных опечаток.

Первый экземпляр «Ивана Денисовича», который я ей подарил, она просто весь исчеркала и мне вернула. Но пообещала отправить мою работу Солженицыну — у нее имелся канал для выхода на него, и я льщу себя надеждой, что у Солженицына в архиве лежит сделанное мною издание «Ивана Денисовича».

Между прочим, Александр Исаевич через какое-то время по возвращении в страну сам лично позвонил мне в «Панораму» сказать спасибо за панорамские справочники, которые я ему передал через Муниру. И даже обещал аудиенцию.

Я думаю, что суммарный тираж нашего «Ивана Денисовича» наверняка превышал двести экземпляров, потому что за каждую ночь я распечатывал экземпляров десять-двенадцать.

Кроме того, мы набрали воспоминания Лидии Чуковской о ее встречах в Чистополе с Мариной Цветаевой. Этот короткий мемуарный рассказ, изданный на Западе в виде тонкой брошюры, называется, кажется, «Предсмертие», ее же сборник статей «Процесс исключения»; или только одну-две публицистические статьи из него, что-то еще...

Не помню, то ли я сам, то ли пришедший со мной в ночи Ведюшкин набил сборник стихов русскоязычного поэта Мадиссона из Тарту. Вообще, крутой самиздат, крутую антисоветчину я не хотел там набивать, — все-таки в памяти машины все тексты сохранялись.

— А что ты называешь «крутым» самиздатом? Разве Солженицын — не крутой?

— «Один день Ивана Денисовича» все-таки издавался в советское время.

— А «крутой» — это неизданный?

— Вот «Архипелаг ГулАг» — это настоящая антисоветчина. За него сажали, между прочим. За распространение «Архипелага» сажали четко, а за распространение пусть и неопуб-

ликованного в СССР «Ракового корпуса» в Москве могли и не посадить. Другое дело, в провинции, где у кэзгэбэшников вообще работы не было. Если им раз в десять лет попадется изданная на Западе книжка, то это хороший предлог для того, чтобы десять человек посадить — всех, кто эту книгу читал или слышал о ней, но не донес. В Москве с этим, конечно, было либеральней.

Кончилось все тем, что наступила весна, Саше уже пора было выходить на трассу, а его не отпускали с работы, потому что Андропов ввел новые правила, согласно которым просто так в отпуск за свой счет было не уйти.

И Саша уже думал, как следует нарушить дисциплину. Например, просто не выходить на работу, чтобы его выгнали и отдали ему трудовую книжку. Он хоть и хиппи был твердых правил, но считал, что трудовая книжка ему еще может понадобиться.

Поскольку он собирался уходить, мы решили сделать последний тираж «Ивана Денисовича» и после этого все подчистить — все выгрузить из компьютера. Мы пришли, всю ночь просидели и сделали, как я помню, двадцать порций — то есть сорок экземпляров. Потом Саша все лишнее скачал с памяти компьютера на бобины.

— *На перфоленту?*

— Нет, так было на советских ЭВМ. А в буржуйском «Хьюлетт Паккарде» вся информация хранилось на магнитной ленте.

— *Обычной коричневой, бытовой, девятимиллиметровой магнитной ленте, которая в магазинах продавалась?*

— Да, только бобина была большая, сантиметров тридцать в диаметре, алюминиевая.

...Саша сбросил на магнитную ленту все, что я набил, и все, что набили его предшественники — запрещенных Стругацких — мы их тоже распечатывали, и, поскольку там была масса опечаток, я их правил, — сборники Окуджавы, Высоцкого, и, может быть, Бродского. В общем, мы переписали все на магнит-

ную ленту — три или четыре бобины получилось, вычистили память компьютера и ушли.

А утром пришел сменщик, включил принтер, и тот выдал ему два экземпляра «Одного дня», который в оперативной памяти остался по Сашиному недосмотру. Сашу благополучно выгнали с работы, и он ушел на трассу. Правда, перед этим к нему пришли с обыском и изъяли эти бобины.

— *Те ленты, на которые он переписал всю информацию?*

— Да. Он на них переписал и унес их домой.

Кроме того, один его приятель, который, будучи экскурсоводом в музее «Коломенское», занимался там религиозной пропагандой, — зовут его Сергей Маркус; он сейчас журналист, на каком-то радио работает — оставил ему перед своим арестом целый мешок религиозной литературы.

Может быть, он не непосредственно ему оставил, а через общих знакомых, но Саша его в шутку называл: «наследство Маркуса». *(Я про дело Маркуса был слышан. Со слов барышни из «Нового Иерусалима», которая была знакома с женой Маркуса, я даже написал самиздатский текст о судебном процессе и переправил его на Запад. Кстати, на процессе обвинитель упорно называл Бердяева «Бурдяевым». — А. П.)*

«Наследство Маркуса» у Саши тоже изъяли. Он, правда, сказал, что нашел мешок на улице. Ясно, что не нашел, но судить за религиозно-философскую литературу, тем более, что у них не было никаких доносов, что он ее давал кому-то читать?

Впрочем, самого Маркуса осудили года на три — ссылки, кажется. Всего-навсего за Бердяева и «Раковый корпус». Вообще-то он распространял преимущественно Евангелие, но зато в массовом порядке, что гэбистам было как чертям ладан.

Так как «религиозная пропаганда» была хоть и явно аморальным явлением, но официально не уголовным, пришлось им подтягивать на антисоветчину Бердяева и «Корпус».

— *Маркусу?*

— Маркусу. К тому времени он уже мотал срок.

А из-за случая с пленкой я перепугался. Подумал: увидят, что там содержится, будут допрашивать — там меня некоторые видели по ночам у Саши. Но он говорит: «Я на нее не просто так переписал, я ее закодировал. Конечно, они могут расшифровать код, но для этого нужен программист не хуже, чем я. А таких в стране мало».

Я спросил: «А как ты закодировал?» Он: «Закодировал я, конечно, не очень политически грамотно, — использовал в качестве кода твою фамилию».

Я не знал, смеяться мне или пугаться еще больше. Но гэбисты ничего не стали расшифровывать и даже спрашивать Сашу про то, что там вообще на пленке есть, и даже про то, есть ли там «Один ден». Они просто завели на него уголовное дело за кражу пленки по статье «хищение в особо крупных размерах», потому что госстоимость унесенных бобин превышала какую-то пороговую сумму — то ли триста, то ли пятьсот рублей.

Но обыск они сделали незаконно — просто пришли в его отсутствие. Его сестра сдуру их впустила. У них не было даже ордера на это. То есть, это был незаконный обыск. В конце концов он написал им заявление о добровольной выдаче похищенной им госсобственности, а заодно и «найденной на улице» религиозной литературы.

— *Его, естественно, вынудили написать это?*

— Да, вынудили написать: «напиши или посадим». Им же нужно было как-то официально оформить незаконно полученные трофеи.

Но было совершено еще одно совершенно малоправовое действие, похожее на то, которое потом было осуществлено в отношении Копейкина. Оказывается, существовал подписанный еще Подгорным указ о возможности заключения сделки, по которому человека можно условно осудить без суда — на основании такого вот «добровольного» заявления.

И Сашу без всякого суда в его отсутствие — он уже ушел на трассу, оставив им заявление о том, что он сдается им добровольно — осудили то ли на год, то ли на три условно, объяснив: если ты в этот период чего-нибудь сделаешь — набьешь кому-нибудь морду, ларек грохнешь, девушку изнасилуешь, то вот эти три года, полученные за хищение пленки, будут приплюсованы к сроку за новое преступление. И показали ему указ о том, что такое возможно.

Похожая ситуация была потом с Копейкиным, который пытался перейти границу и уйти в Финляндию, но не ушел. Его погранцы взяли на выходе из погранзоны, когда он уже передумал и возвращался. С него получили заявление, что он, действительно, пытался совершить преступление, но передумал. За попытку незаконного перехода границы ему тоже дали то ли год, то ли три такого же условного срока. При этом ему показали тот же самый указ Подгорного.

— *ИВТАН наверняка являлся режимным предприятием. Каким образом ты в него попал?*

— Пробирался я туда, перелезая через бетонный забор. Я тогда был еще более-менее худеньким, физически крепким, и мне было нетрудно и даже весело перелезть через забор. Режимное не режимное, а щель в заборе там можно было найти. Но ближе всего к моей автобусной остановке оказалось место, где дырки не было, но зато можно было перелезть. А утром я обратно выходил нормальным образом — через проходную.

— *С какой целью вы скачали все на магнитную ленту? Чтобы иметь возможность использовать в будущем?*

— Ну жалко было оставлять проделанную работу.

— *Ты ничего не рассказал о дальнейшей судьбе изготовленных вами на компьютере ста пятидесяти—двухсот экземпляров.*

— Я их роздал. Часть мы сумели красиво переплести и, если они были переплетены за деньги, то с покупателя бралась стоимость переплета.

— *У нас осталась последняя тема — твои приводы в КГБ.*

— Ой, ну это — отдельная история. Это были не приводы, а вызовы-приглашения в качестве как бы свидетеля. Ну не совсем свидетеля... Это были полубеседы как бы добродушные — полудопросы, а содержание — полузапугивание-полувербовка...

— *У тебя есть прекрасная возможность рассказать об этом и увидеть рассказ опубликованным...*

— Это — отдельная история. Это будет долго, так что в другой раз.

— *То есть ты считаешь, что можно завершить эту нашу беседу?*

— Да, потому что про КГБ надо рассказывать примерно еще столько же времени.

Коротко об авторах

Ардов Михаил Викторович родился в 1937 году в Москве.

В 1960 окончил факультет журналистики МГУ. Был профессиональным литератором.

В 1980 принял священный сан в Ярославской епархии Московского Патриархата, впоследствии служил в Подмосковье.

Летом 1993 года перешел в Русскую Зарубежную Церковь, а в настоящее время является клириком Российской Православной Автономной Церкви.

В девяностых годах он возобновил писательскую деятельность и выступает, как мемуарист и публицист.

В ГРАНЯХ опубликованы его материалы: «Пророки и лжепророки» (№ 176) и «Прописные истины» (№ 182).

Гаврилов Борис Антонович — литературовед, эссеист.

В середине 1970 годов, при жизни Марии Степановны Волошиной, был первым экскурсоводом постоянно действовавшей в доме Волошина в Коктебеле выставки Волошина из частного собрания его вдовы, предшествовавшей открытию волошинского музея.

Директор Дома-музея М.А. Волошина (1989—1994).

Устроитель первых международных выставок М. Волошина и М. Сабашниковой (Франция, Германия) и организатор международных конференций — один из первых в СССР, посвященных Максимилиану Волошину, Андрею Белому, Вячеславу Иванову, а также Первого Всемирного конгресса по русской литературе, приуроченного к 100-летию волошинского Коктебеля (1993).

Читал лекции в Европе и Америке.

С 1994 года живет в США.

В ГРАНЯХ печатается впервые.

Горюшкин Анатолий Александрович родился в 1933 году в деревне Летово Рыбновского района Рязанской области. Земляк Сергея Есенина: деревня Летово находится в нескольких километрах от Константинова.

С 1937 живет в Москве постоянно, если не считать двух лет эвакуации в родные места в первые годы войны.

Окончив факультет журналистики МГУ в 1957 году, уехал на Сахалин, где три года проработал в районной газете «Сахалинец» (г. Анива).

Возвратившись в Москву, работал в журнале «Советский Союз», корреспондентом Всесоюзного радио, в журнале «Смена», в «Дружбе народов».

Автор книг стихов: «Сердце — у дороги», «Свидание», «Песочные часы», «Пассажиры в аду», а также несколько сборников поэтических переводов.

Член Союза писателей России.

В ГРАНЯХ печатается впервые.

Лосская Вероника Константиновна родилась в Париже, потомок русских первой эмиграции.

Образование получила в Париже, в русской гимназии и в Лицее, высшее в Сорбонне и в Оксфорде (Англия).

Специализировалась по русской литературе, классической и современной. Профессор emeritus Парижского университета Сорбонны, преподавала русский язык и литературу по специальности. Большую часть своих трудов посвятила Марине Цветаевой.

Автор монографий о Цветаевой и Ахматовой, а также статей и других произведений о русской эмиграции, о месте женщины в Православной церкви и так далее.

Живет в Париже (Франция), работает над новыми переводами Цветаевой и статьями о ней, а также над словарем Русской Эмиграции во Франции в XX веке.

В ГРАНЯХ в № 229 опубликовано ее литературоведческое эссе «О “Записных книжках” Цветаевой», в № 235 «Библия в поэтическом мире русской поэзии: Ахматова и Цветаева», в № 241–244 («Тарусские страницы») «Служение родине» — Марина Цветаева об отце.

Николаев Геннадий Философович — писатель-реалист, фантаст, публицист.

Родился в 1932 году в городе Новокузнецке Кемеровской области в семье служащих. Детство и школьные годы, совпавшие с войной, прошли в Новосибирске.

В 1956 году окончил физико-технический факультет Томского политехнического института. Десять лет работал в атомной про-

мышленности. Участвовал в проектировании институтов Ядерной физики и Неорганической химии Сибирского Отделения АН СССР, защитного оборудования, в ликвидации аварий на п. я. 10 в Усть-Каменогорске

С 1959 по 1966 годы работал на комбинате п. я. 79 в Ангарске. Неоднократно попадал в зоны повышенной радиации и «газовок», спасали товарищи по работе.

С 1966 по 1969 годы — начальник лаборатории в Иркутском филиале Всесоюзного алюминиево-магниевого института.

С 1970 по 1973 годы — редактор иркутского альманаха «Сибирь».

В 1973 году переехал в Ленинград. После окончания Высших литературных курсов с 1975 года работал в ленинградском журнале «Звезда» в отделе прозы, затем заместителем главного редактора, а с 1988 по 1992 годы главным редактором (впервые в СССР был избран на этот пост писательской организацией в порядке открытого конкурса).

Участник международных конгрессов: Первого (1990) и Второго (1993) антиядерных в Алма-Ате, «Сталинизм сегодня» (1990) в Зальцбурге и Первого Сахаровского (1991) в Москве.

Член Союза писателей Санкт-Петербурга, Русского ПЕН-клуба, редколлегии журнала «Звезда». Номинант премии «Русский Букер — 2002» за роман «Вещие сны тихого психа».

Всего на русском языке издано пятнадцать книг, среди них: «Плеть о двух концах», «Лесная подстанция», «День милосердия», «Зона для гениев», «Мой многоликий атом» и другие.

Печатался в альманахах «Ангара», «Сибирь», в журналах «Сибирские огни», «Смена», «Звезда», «Нева», «День и ночь», «Природа», «Партнер».

Автор воспоминаний — об Александре Вампилове, Дмитрие Сергееве, Марке Сергееве, Сергее Иоффе, Викторе Астафьеве, Владимире Тендрякове, Андрее Сахарове, друзьях и коллегах по совместной работе в атомной промышленности и в «Звезде».

Переводился на болгарский, венгерский, монгольский, немецкий, французский языки.

С 1999 года живет в Дортмунде (Германия).

В ГРАНЯХ в № 237 опубликован его материал «Кольца удава или Зерна оптимизма на полях пессимизма», а в № 240 — «Встреча с АДС».

О с и п о в Аркадий Федорович (1938—1992) — окончил Московский институт тонкой химической технологии, работал в области радиационной химии, кандидат химических наук.

Писал стихи и песни. Всю жизнь вел дневники, вместившие подробности советской жизни второй половины XX века. При жизни почти не печатался.

Поэтическая книга вышла в 1993 году. Стихи и отрывки из дневников напечатаны в журналах «Мы» и «Alma Mater», в «Общей газете» и альманахе «Глоток кислорода».

Дважды публиковался в ГРАНЯХ, где с большим вниманием отнеслись к творчеству Осипова, человека, имевшего много талантов и бесценный дар человеколюбия.

Перова Евгения Георгиевна окончила исторический факультет Московского государственного университета.

Тридцать с лишним лет проработала в Государственном Историческом музее — реставратором, хранителем, ученым секретарем. Не надолго покинув родной музей, вернулась туда снова в отдел реставрации.

Кандидат искусствоведения, преподаватель.

Автор книги «Ловушка для бабочек», изд-во «Евдокия», 2012 год. Член редколлегии альманаха «Белый Ворон».

В ГРАНЯХ печатается впервые.

Пятковский Алексей Юрьевич родился в Москве в 1960 году.

По окончании средней школы сменил множество мест работы. Был библиографом, техником, слесарем, завхозом, печатником, светокопировщиком и т. д.

С 1988 году учился на факультете архивного дела историко-архивного института РГГУ.

В тот же год примкнул к демократическому движению, участвовал в создании и затем возглавил Кунцевскую группу Московского народного фронта. Сотрудничал с неформальной прессой: газеты «Право», «Искра» и «Новая жизнь», являлся редактором отдела в журнале «Демократ» и ответственным секретарем исторического альманаха «Былое».

С 2004 года в Институте гуманитарно-политических исследований занимается историей демократического движения в СССР. Темы: «История Самиздата» и «История неформального движения».

Является автором книги воспоминаний о неформальном движении и иронического «Политического словаря».

Живет в Москве.

В ГРАНЯХ опубликованы его «Воспоминания о Самиздате» в № 232, № 236, № 240, № 247.

С е м ы н и н а Наталья Петровна родилась в Москве. После окончания исторического факультета Московского университета работала в художественных музеях Москвы, в том числе в Третьяковской галерее.

Дебютировала как драматург в 1973 году. Пьесы Н. С. шли на сцене московских театров — драматических и кукольных, публиковались в издательстве «Искусство».

С годами все больше обращается к прозе. С начала девяностых годов прошлого века прозаические произведения стали появляться в периодике: «Литературные новости», «Стрелец», «Русский курьер», «Вечерняя Москва», «Кольцо А» и другие.

Член Союза писателей Москвы.

В ГРАНЯХ в № 225 опубликованы ее рассказы «Капричос» и «Цареубийца», в № 234 «Память».

Ф р у м к и н Владимир — музыковед, журналист, эссеист, выпускник теоретико-композиторского факультета и аспирантуры Ленинградской консерватории. Еще в советскую эпоху стал исследователем феномена независимой, неподцензурной песни.

В 1974 эмигрировал в США, работал в Оберлин-колледже (штат Огайо) и Русской летней школе при Норвичском университете (штат Вермонт).

С 1988 до 2006 года — сотрудник Русской службы «Голоса Америки» в Вашингтоне. Среди опубликованных работ — «От Гайдна до Шостаковича», «Особенности сонатной формы в симфониях Шостаковича», «Певцы и вожди».

Живет в Маклейне — вирджинском пригороде Вашингтона.

В ГРАНЯХ печатается впервые.

Х а з а н о в Борис (Геннадий Моисеевич Файбусович) родился в 1928 году.

Писатель, автор романов, рассказов, многочисленных журнальных публикаций. Переведен на основные западные языки, а также на украинский и болгарский.

Лауреат литературных премий в России и за границей. Победитель международного литературного конкурса «Русская премия» (роман «Вчерашняя вечность», 2008).

Живет в Мюнхене (Германия).

Содержание томов № № 245—248, 2013

<i>«Меж Рождеством и Рождеством...»</i>	245
<i>«Бог не препятствует богоборчеству человека...»</i>	246
<i>«...Мы потому плохо живем, что плохо читаем Книгу книг...»</i>	247
<i>«Из года сорокового, Как с башни на всё гляжу...»</i>	248

ПИСАТЕЛЬ И ВРЕМЯ

ЛОССКАЯ Вероника. Ахматова и Цветаева. 1913-й год	248
ЕВСЕЕВ Борис. Личины и лик государства	245
ЖИРМУНСКАЯ Тамара. «Дай, жизнь, отслужить твоё чудо...» Белла Ахмадулина	246
КАРЯКИН Юрий. «Бывают странные сближения...»	247

ПУБЛИЦИСТИКА

ВОРОБЬЕВ Олег. Чего так боятся эти люди?	246
Оружейная «свобода» в Китае и не только	246
КОРЖАВИН Наум. Опыт внутренней биографии	245, 246
ЧУБАЙС Игорь. Какою Россия была? Каков реальный образ исторической России?	247

ПОЭЗИЯ

БОТЕВА Валентина.	
«...Вслушиваться в молчанье»	245
КОРЖАВИН Наум.	
«...И верность собственной звезде»	246
ОСИПОВ Аркадий.	
«...Мои мерцающие сны»	248
ПОСТНИКОВА Ольга.	
«...В незнание мы бессмертны»	246
ПРОКОШИН Валерий.	
«...Из тени в свет перелетая»	245
СУНДЕЕВ Николай.	
«...Летающих и тающих дней»	247

ПРОЗА

АГЕЕВА Людмила.	
Дети счастливого Дома	246
БЕЛОБРОВЦЕВЫ Ирина и Виталий.	
«А правда так пленительна...»	245
БЁЛЛЬ Генрих.	
Тогда в Одессе. <i>Перевод В. Шубина</i>	246
ГОРЮШКИН Анатолий.	
Смотритель маяка	248
ИВАНОВ-ТАГАНСКИЙ Валерий.	
Обреченная на жизнь. <i>Отрывок из трилогии</i>	247
КРЯЧКО Борис.	
Корни	245
НИКОЛАЕВ Геннадий.	
Трещина	245
Пыль	248
ШУБИН Владимир.	
Невский сплин.	247
ХАЗАНОВ Борис	
Русский путь	248

АНТОЛОГИЯ СОВРЕМЕННОГО РАССКАЗА

- ЕВСЕЕВ Борис.**
Русское каприччо.
Ехал на Птичку Иван Раскоряк... 246

- МУНТЯН Елена.**
Феноменология французского парфюма
в период развитого социализма 245

- СЕМЫНИНА Наталья.**
Женщина в белом. Я устал 248

- ПЕРОВА Евгения.**
Четвертый попутчик. Конспект романа 248

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ

- ВАСИЛЬЕВ Глеб, НИКИТИНА Галина.**
О Тихоне Чурилине, Ходасевиче и других 246

- ЗЛОТИН Михаил.**
Займка 247

- КОРНИЛОВА-БАСОВА Ирина.**
«...О гибели, о славе, о любви» 245

- ФРУМКИН Владимир.**
«...Пусть Бог меня простит» 248

ФИЛОСОФИЯ. РЕЛИГИЯ. КУЛЬТУРА

- АРДОВ Михаил.**
Россыпь. Статьи разных лет 248

- о. ЗЕЛИНСКИЙ Владимир.**
Безмолвная тайна первохристианства. 245
Кафоличность или созванное единство 245
Гегель и государство абсолютного субъекта 246

НАСЛЕДИЕ

- ЗАВАДОВСКИЙ Юрий.**
Из «Заветных тетрадей».
Мальта. Блистательный Санкт-Петербург в Париже 247

- ФИШМАН Виктор.**
Рисунки Дюрера для фюрера 246

- ЦВЕТАЕВА Марина.**
О новой русской детской книге 248

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

- ГАВРИЛОВ Борис.**
Эзотерическая миграция Максимилиана Волошина 248
- ЛОССКАЯ Вероника.**
Цветаева о «Поэтическом искусстве» 245
- МАНСУРОВ Борис.**
Разгадка тайны любимой иконы Марины Цветаевой 245
- МОЩЕНКО Владимир.**
Тогда ещё шёл век двадцатый... 248
- СЕМЕНОВА-БЕНИНИ Тамара.**
Константин Паустовский 247
- ТРУШКИНА Анна.**
Неслыханная простота 246

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

- БЕЛИНКОВА-ЯБЛОКОВА Наталья.**
Обыкновенная история Людмилы Лукомской 246

АРХИВ «ГРАНЕЙ»

- ЛЕВАНСКИЙ Владимир.**
Руина... Чти! 247

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

- СТЕПАНОВА Елена-Лора ЛЕЙ**
Русский мир — он больше, чем Россия 245

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

- ПЯТКОВСКИЙ Алексей.**
Воспоминания о Самиздате
Политолог Владимир Прибыловский 247, 248

ОБРАЩЕНИЕ

Редколлегии журнала ГРАНИ к русской эмиграции,
литературной молодежи и студенчеству стран Европы,
Америки, Азии и Австралии

Нет сегодня в России еще журнала с такой удивительной, прекрасной и трагической судьбой, как ГРАНИ.

С момента основания, за свою более чем полувековую жизнь, журнал помог выжить литературе под коммунизмом и доводил до подсоветской части интеллигенции традиционные линии российской культуры, которые не только сохранялись, но и развивались в эмиграции.

Творцы журнала никогда не знали, какое количество экземпляров — порой с риском для жизни тех, кто это делал, — пересечет границу. Но они были твердо уверены в том, что каждая их строка обязательно будет прочитана ТАМ. И что от первого читателя журнал попадет ко второму, третьему, четвертому... и по цепочке окажется у человека, который перепечатает его в нескольких копиях.

В том, что идеи свободного мира расходились за железным занавесом как круги по воде, есть бесспорно заслуга ГРАНЕЙ. Взрыв гэбистской бомбы у редакционного порога свидетельствовал об этом как нельзя более красноречиво.

Люди, подвижничеством которых живет журнал в России в наши дни, уверены в нужности своего дела так же твердо, как и их предшественники. Да, в стране нынче можно распространять любые идеи, печатать любую литературу, однако восприимчивость общества невероятно упала.

Если в гробовой атмосфере официального единомыслия тоталитарного мира эффект ГРАНЕЙ и ПОСЕВА был эффектом громкого шепота среди тишины, то сегодня, когда сотни независимых источников предлагают свои — увы! — часто совершенно безответственные версии, объяснения, программы и прогнозы на будущее, информационный шум стал ревом Ниагары.

Вот почему все больше сбитых с толку людей обращаются к привычным и проверенным журналам, радиостанциям и т. д.

Для тысяч и тысяч российских интеллигентов логотип ГРАНЕЙ — знак качества высшей пробы. Этих людей не стоит недооценивать. Их влияние непропорционально их количеству. Все мы помним, что куда меньшее число диссидентов совершило в нашей стране то, что когда-нибудь будет названо «чудом конца восьмидесятых».

В условиях, когда слишком многие российские СМИ, слышащие демократическими, открыто заигрывают с коммунистами, шовинистами, расистами, изоляционистами, ненавистниками Запада, врагами либеральных ценностей, особенно важно, чтобы журнал, который ощущается одним из необходимых российских институтов, продолжал выходить.

Сегодня ГРАНИ издаются в России в судьбоносное для страны и такое трудное для литературных изданий время и исключительно на средства зарубежных подписчиков.

Учитывая ценность журнала для будущего России, а также для русской эмиграции, которая по-прежнему живет тревогами и болью своего Отечества, просим Вас помочь в распространении журнала в 2013 году от Р.Х.

За 2012 год вышли №№ 241, 242, 243 и 244 («Тарусские страницы»), которых у Вас, возможно, нет.

**Адрес редакции журнала ГРАНИ
для оформления подписки, писем и сообщений:**

**GRANI
BP 24 CHENNEVIER-SUR-MARNE
CEDEX 94431
FRANCE**

О том, по какому адресу мы должны Вам послать журналы, а также об отправке Ваших денег убедительно просим известить по вышеуказанному адресу или по e-mail:

grani.08@mail.ru

Принимаем заявки на подписку 2013 и 2014 годов от Р.Х.

Учредитель:
Journal «Grani»

Ассоциация «ГРАНИ»
L'association «GRANI»
De l'association n w751170197
Paris

*Статьи, подписанные фамилией или инициалами автора,
не обязательно выражают мнение редакции.*

Не принятые к публикации рукописи не возвращаются.

Перепечатка без разрешения воспрещается.

Компьютерная верстка — Мария Гольдман

Подписано в печать 06.02.2013 . Формат 84 × 108 ¹/₃₂.
Печать офсет. Бумага офсет. № 1.
Усл. печ. л. 7,5. Уч.-изд. л. 10.
Тираж 150. Заказ № 6.

Отпечатано в ЗАО «Издательство ИКАР».
Москва, ул. Академика Волгина, д. 6.
Тел.: 936-83-28, 978-35-99. Тел./факс: 330-89-77
www.ikar-publisher.ru

Journal «Grani»

Журнал ГРАНИ - 2013
№245, №246, №247 и №248

Для оформления подписки,
писем и сообщений:

GRANI
BP 24 CHENNEVIER-SUR-MARNE
CEDEX 94431
FRANCE

Представители:

РОССИЯ T.Zhilkina
17, Milashenkova str., app. 61
127322, Moscow
E-mail: grani.08@mail.ru

АМЕРИКА K. Troosh
600 Fifth Ave
San Francisco CA 94118
E-mail: katia@katias.com

ФРАНЦИЯ N. Fedorovsky
16 square J.-B. Pigalle
77680 Roissy-en-Brie
Tel.: 01.60.28.36.57

**Спрашивайте журнал ГРАНИ
в библиотеках Москвы и Санкт-Петербурга**

Легко и радостно жить тому,
кто ищет в других хорошее,
ищет и находит.

Исканием своим помогает он тем,
в ком ищет, раскрыть и проявить
светлые г р а н и души. Но для этого
он прежде всего в самом себе
должен раскрыть их, должен стремиться
к совершенствованию.

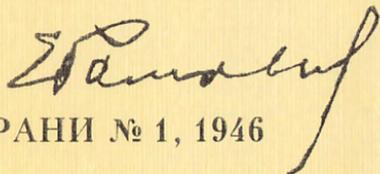
Каждый человек –
часть органического целого, человечества.
Совершенствуется часть –
совершенствуется целое.

Тот, кто становится на путь Правды,
помогает всему человечеству
стать на тот же путь.

А необходимость этого, может быть,
никогда так не была велика, никогда так
не ощущалась всеми, как в наши дни.

В свете этого большая
и ответственная задача
стоит перед теми, кто служит Слову, –
Слову Правды.

Тогда подлинным гуманизмом будет
проникнуто творчество художника
и оправдано в служении Человеку,
Правде человеческой, Правде Божьей.



ГРАНИ № 1, 1946